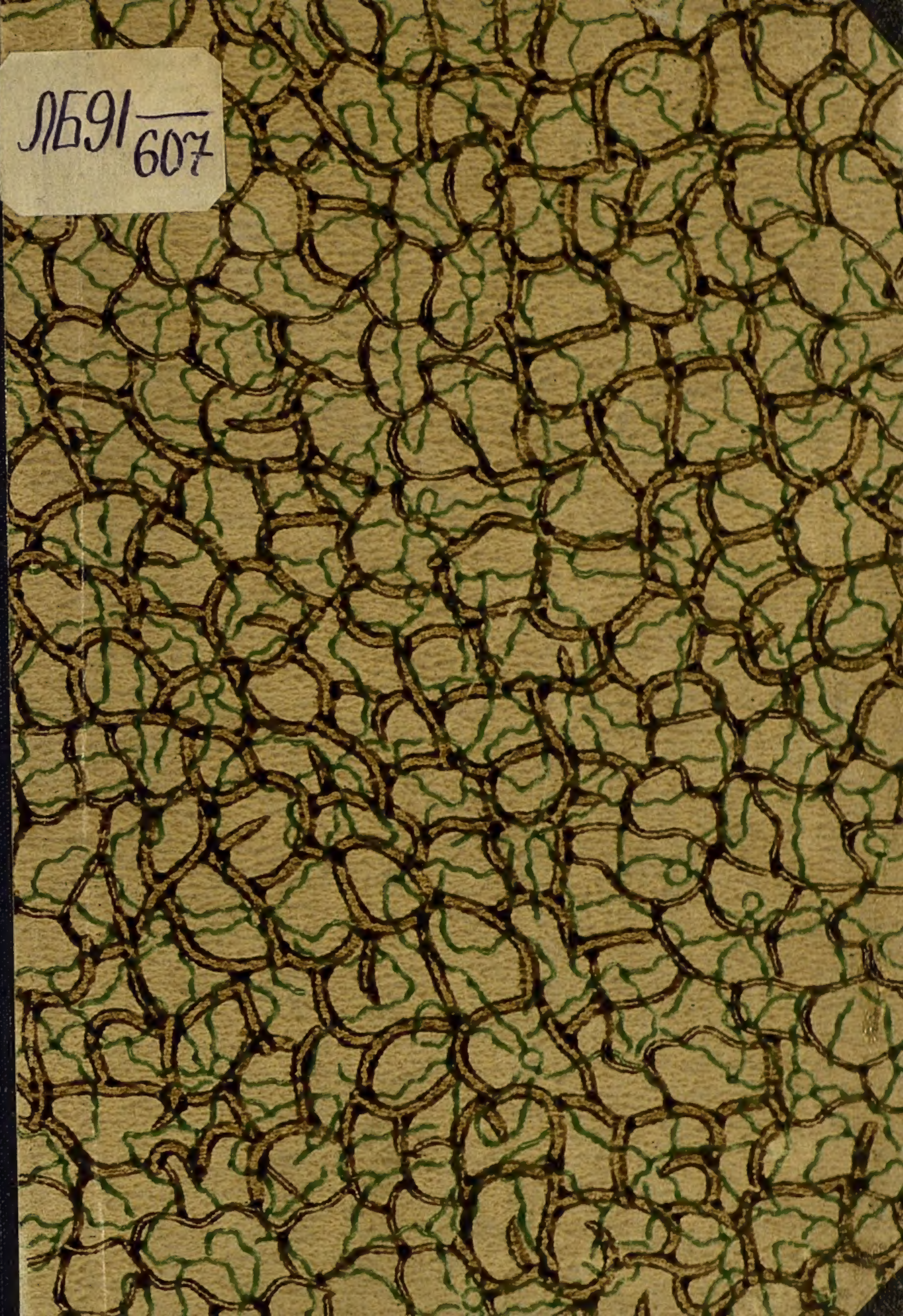


[Комис]сия при Ц. И. К-е Советов Тат. С. С. Респ.
по проведению 20-ой годовщины революции 1905 г.

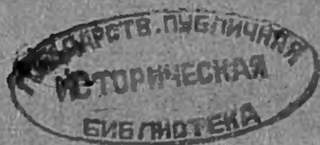
ИСТПАРТОТДЕЛ ОБЛ. КОМ-ТА Р.К.П. (б) ТАТ. РЕСП.

А. Аросев.

КАЗАНСКИЕ ОЧЕРКИ О РЕВОЛЮЦИИ 1905 г.

КАЗАНЬ
1925.

Отпечатано в типографии «Восток»
Издательства «Гажур»
Казань,
Казанская, 4, в колич. 2000 экз.
Татглавлит № 2520. Зак. № 524.



В восьмидесятых и девяностых годах Казань, как и многие другие довольно крупные города Центральной России, была местом ссылки революционеров. Таковы, кроме Казани, были Самара, Нижний-Новгород, Владимир. Уже простое упоминание этих городов показывает, что близорукая жандармерия ссылала революционеров как раз в те пункты, которые быстрым темпом развивались, становясь в разряд культурных и индустриальных центров России.

Немудрено, что практически революционный марксизм на русской почве зародился именно в этих городах. Там появились первые социал-демократические организации.

Этому нисколько не противоречит существование задолго до социал-демократических кружков Казани, Самары и Нижнего марксистской организации „Группы освобождения труда“. Эта группа имела скорее характер организации теоретиков русского марксизма. Недаром известный талантливый организатор одного из казанских марксистских, социал-демократических кружков

Н. Е. Федосеев различал понятия „марксист“ и „социал-демократ“. Первое означало теоретика марксизма, второе—практика.

Из указанных выше городов Казань была особенно излюблюнным местом ссылки. Происходило это, видимо, потому, что там, как говорит проф. Фирсов [1]), установлен был режим, как в покоренной колонии. Тень Пугачева не давала покоя усердным казанским чиновникам и они, по опричному, метлой мели измену. Под эту то метлу петербургские и московские жандармы и посылали революционеров, не особенно разбираясь в их идейных оттенках.

Такое положение Казани и соседних с нею пунктов сделало то, что именно там появилась целая плеяда социал-демократов, т. е., как сказал бы Федосеев, практических марксистов. Санин, Скворцов, Мицкевич, Федосеев, Григорьев, Ленин. Все они идейно, а многие, как например Ленин, и по роду происходят оттуда.

Эти первые социал-демократы искали всеми способами связи с рабочими. Но все-же в то время центром их деятельности была интеллигенция и в первую голову Университет.

В этом отношении Казанский Университет занимает весьма видное место в истории рус-

---

[1]) „Казанские Известия“ за 1924 г., статьи Фирсова о казанских студенческих беспорядках в 1887 г.

ского революционного движения. Там был создан один из первых социал-демократических кружков Федосеева, там и Ленин получил свое первое боевое крещение.

Недаром же с тех пор, как я стал себя помнить, в разговорах старших, по преимуществу мещанского круга, *я только* и слышал, что рассказы про этот страшный Университет весь начиненный революционными студентами, как хорошая бомба динамитом. Бабушка моя была свидетельницей, как казанский студент Каракозов стрелял в Александра II, и портной Комиссаров на его глазах подшиб его под локоть и пули полетели мимо царя в небо. Бабушка говорила мне, чтобы я никогда не был студентом. Отец не отдал меня в гимназию, а в реальное училище только потому, чтобы я шел не в университет, а в какой нибудь технический институт.

Проходя мальчиком мимо высоких белых колонн, белого здания, на фронтоне которого было выведено золотым по белому фону: „Императорский Казанский Университет“, я думал: вот это там таинственная обитель, где учатся, а потом вдруг кидают бомбы, или стреляют. Я часто с любопытством заглядывал в глаза под козырек фуражки с синим околышем, но ничего особенного не открывал: обыкновенные веселые зеленоватые глаза, клок волос, беспорядочно вы-

бывшихся из под фуражки, где нибудь на виске. В руках книги, а не бомбы. Предубеждение моих родственников против студентов мне казалось положительно ни на чем неосновaнным.

Мои сомнения о том, что студенты, должно быть, не плохие люди, я высказал однажды только матери. К моему удивлению, она не только была со мной согласна, но еще и говорила что-то такое, что я не понял: о научных победах, которые одерживают некоторые студенты, о их борьбе за науку и, этого я уже совсем понять не мог—за свободу.

Студенческие беспорядки были в 1887 г. Тогда в них принимал участие Ленин. Меня, Скрабина [1]), Тихомирнова [2]), Мальцева [3]) и других моих сверстников по партии и возрасту, о которых будет итти в дальнейшем речь,—тогда и на свете не было. Беспорядки эти превосходно описаны Чириковым в его „Цветах воспоминаний" и „Жизни Тарханова".

После этого казанское движение было основательно разгромлено. Однако, через 10 лет, в 1897 г., беспорядки в казанском университете разразились с новой силой. Это я уже помню немного лично.

---

[1]) Ныне Молотов—секретарь ЦКРКП.
[2]) Умер в Казани в 1919 году, будучи членом коллегииНКВД.
[3]) Работает ныне в Мосздраве.

Мне было тогда 7 лет.

В необычное время, днем, часов в 12, отец мой прибежал домой. Сняв шляпу, он не повесил ее, как обычно—отец мой любил порядок и постоянные привычки,-а, сев на кресло в столовой, сначала сдвинул ее на затылок, а потом положил на круглый стол.

И сказал матери:

— Пришлось запереть магазин,—там как-будто началось.

Это таинственное „там" и непонятное „началось"—ударило меня по сердцу и по воображению. Мне стало ясно одно, что есть где-то это самое „там" и что „там", оказывается, могло что-то „начаться" и вот началось что-то такое, от чего нормальная размеренная жизнь моего отца получила какой-то толчек в бок.

Отец об'яснял моей матери, что именно началось. Я ничего не понял, но мне запомнилось, как часто там фигурировали „студенты".

Вечером, в детской, перед сном, после того, как отец по обычаю своему поцеловал меня в лоб, а мать перекрестила и поцеловала в лицо, я спросил у бабушки [1]).

---

[1]) Надежда Павловна Аросева (сначала в документах была Росина, а потом кто-то безграмотно в волости перепутал и записал Аросева)—мать отца, бывшая крепостная крестьянка села Трофимовщина, Нижегородской губернии. Это она была свидетельницей, как Каракозов стрелял в царя.

— Кто такие студенты?

— Это люди, которые убили царя освободителя. И теперь, наверное, опять хотят убить.

Я вспомнил как бабушка, сама бывшая крепостная крестьянка, со слезами на глазах иногда певала:

„Воля сокол поднебесный
„Воля светлая заря.....

. . . .

„Знать горячая молитва
„Долетела до царя.

И еще вспомнил картину, висевшую в столовой, где изображалось устроенное народовольцами крушение поезда, в котором ехал царь. И тогда студенты, жаждующие смерти царя, показались мне теми темными страхами, которые иногда заглядывали из черноты незавешенного окна в нашу мирную, светлую детскую.

В этот вечер я и шопотом и просто в уме, горячо молился за царя и даже просил милостивого бога наказать студентов.

На другой день, утром, отец об‘явил за чаем, что „взбунтовавшиеся студенты“ находятся запертыми в ограде двора номеров купца Садовникова. Этот дом был как раз рядом с нашим (Набержная Булака) и я, выбежав гулять, первым долгом отправился к хорошо известной мне зеленой ограде соседнего двора.

Сквозь ограду, на тесном дворе, я увидал большую толпу веселых молодых людей, которые курили, расхаживали парами, тройками и четверками, непринужденно поглядывали на улицу и многие из них спорили друг с другом.

Вместе со мной на заключенных любовался Аркашка, мальчик очень большого роста,—сын околоточного надзирателя.

— Это—студенты?—спросил я его.

— Да, их мой отец посадил сюда.

— Да, да, мы студенты,—ответил один из заключенных румянный, безусый с голубыми, добрыми глазами. Он не расслышал, очевидно, ответа Аркаши на мой вопрос.—Ты нас не бойся мальчик, мы за справедливость. Узнай-ка нет ли у твоей матери хлеба.

Я опрометью бросился на наш двор, вбежал по черной лестнице к нам в квартиру и добросовестно передал матери просьбу о хлебе. Мать сделала целый завтрак. Я снес студентам.

Аркашка передал об этом своему отцу.

Вечером сидел у нас околоточный и перекладывая шашку справа налево и слева направо около левого сапога своего, говорил моей матери какие-то мрачрые слова по поводу того завтрака, который я снес студентам.

Утром 1904 г., отправляясь в свой третий класс реального училища на углу Воскресенской и поперечно Воскресенской улицы, я обратил внимание на толпу, читающую что-то расклеенное на стене. Это был манифест об об'явлении нам войны японцами.

Война.

С этим словом в представлении моем связывалось много возвышенно героического и чего-то такого, что потом давало право на всеобщий почет, на прекрасный отдых с повязанной раненой рукой, на то, чтоб быть постоянным об'ектом всеобщего внимания.

Такое представление о войне у меня сложилось под влиянием рассказов моего дяди—брата моего отца, который участвовал в русско-турецкой компании и приехал к нам, когда мне было четыре года. Я помню его в солдатском мундире, сидящим на диване и рассказывающим о битве под Плевной.

Вскоре после моего дядюшки у нас в доме появился мой дед, отец моего отца и дяди. Дед мой был высокий, немного плешивый старик, русского типа, коренастый крестьянин села Трофимовщины, Нижегородской губернии. Отец его, т. е. мой прадед ходил против Наполеона. От него у моего деда сохранилось много рассказов про наполеонские походы. Дед эти рассказы передавал мне,

В результате, когда я слышал о войне, то во мне разгоралась жажда борьбы, подвигов, каких-то очень величественных и благородных поступков.

К этому примешивалось еще впечатление от рассказов другого моего деда, отца моей матери, который был участником народовольческого движения и сохранил любовь к правде—истине и правде справедливости. Он не навидел ложь. Он проповедывал, что за любую правду должно погибнуть любою смертью. Его любимая дочь, моя мать, носила надпись на медальоне:

„Смерть—небольшое слово,

а уметь умереть—великая вещь“.

Серги моя мать носила в форме черепа. Она учила меня тому, что надо достойно жить и достойно, честно, велико умереть [1]).

Вот почему, когда, узнав что Россия начала воевать с Японией, я возвратился из училища домой, то немедленно же стал подготовлять своих младших братьев (я был старший—после меня три брата и три сестры) к большим играм в войну.

Сражения эти я старался вести так, как

---

1) В 1918 г., 18 сентября она была растреляна белыми в г. Спасске, Казанской губернии, (как активный член партии левых соц. рев-ров. Ред.)

представлял их себе по чтению военных телеграмм.

Эти игры в войну меня настроили на такой патриотический лад, что когда кто-нибудь говорил против царя (а такие споры шли особенно в обществе моей матери), то я готов был вступить в физическую борьбу с таким человеком. Царь мне стал казаться все более и более тихим гением, воплощением доброты и справедливости Он во сне мне снился всегда в костюме нежно-кремового цвета.

Это патриотическое настроение во мне поддерживал мой троюродный брат Сергей Смирнов [1]), ученик земледельческого казанского училища, которое находилось за городом, за озером Кабаном. По субботам Сергей Смирнов приходил то к нам, то в семью дяди, брата отца, и всегда произносил передо мною ультра-монархические речи. Вместе с ним мы в вечер больших иллюминаций в честь рождения наследника Алексея ходили по улицам и кричали „ура!“.

Дело, наконец, дошло до того, что я никому не говоря ни слова, решил бежать сам на защиту Порт-Артура. Для этого нужно было иметь кинжал и хлеб на дорогу. Хлеб я стал потихоньку откладывать во время каждого чая и обеда,

---

1) Впоследстви с.-р. А ныне, кажется, просто мирный агроном.

утаскивая по куску в свою комнату. Этот хлеб я складывал в купленные мною мешки и хранил под кроватью. С прислугой же договорился не убирать в моей комнате и взялся уборку производить сам. Что касается кинжала, то и этот вопрос был решен мною сравнительно просто: я взял столовый нож, отточил его с другой, тупой стороны и получил таким образом кинжал. В дополнение к „кинжалу" выдернул еще в чулане из стены огромный гвоздь, скорее даже болт, которым зеркала и большие картины прикрепляют к стене. Этого рода оружия казались мне достаточными для защиты Порт-Артура и я стал ждать случая бежать.

Такой случай скоро представился. Возвращаясь однажды из реального училища по Проломной улице, я услышал военную музыку и длинную вереницу потных, красных лицах солдат, отправляющихся к пристани на берегу Волги для дальнейшего следования на фронт.

Медные трубы так гремели марш, солдаты так были настроены по пьяному, по бесшабашному, что пройдя с ними немного, я опрометью бросился домой. Швырнул на стол ранец и полез под кровать доставать свои мешки с хлебом. Увы, хлеб покрылся плесенью, мешки прогнили насквозь, прилипли к полу и я с трудом извлек из под кровати разлагающийся зелено - бурый

хлеб. Махнув рукой на пропавший провиант, я полез в отдушину печки, где хранились кинжал и болт. Достал их оттуда, и надписав на белой двери следующее:

„Меня не ищите: я ушел в Порт-Артур.

Саша“.

— Побежал, сломя голову, пешком за семь верст, к пароходным пристаням, чтобы успеть вместе с солдатами отплыть на фронт.

На Устье, так в Казани называется берег Волги, где стоят пристани, солдаты собирались до позднего вечера. Их накачивали речами. Говорил поп, полицмейстер, генералы. По окончании речей их повели и, как сыпучее тело,— тяжелая солдатская масса ссыпалась в пароходские люки.

За это время я успел перезнакомиться с солдатами, ел ихние баранки и вместе с ними „ссыпался“ в люк.

Но тут случилось несчастье: пока вся эта галиматья с речами продолжалась, о моем побеге узнали домашние и почти перед третьим свистком парохода передо мною уже в люке выросла фигура старшего приказчика моего отца. Старший приказчик, которого мы все звали Петр Иванович, потный, красный и запыхавшийся, но

обрадованный, что нашел меня, схватил меня за руку и при помощи некоторых солдат же извлек из люка, стащил с парохода и представил родителям.

Мать была в ужасе. Отец крепился и вместо наказания предложил мне, если уж я так хочу, добровольно, но совершенно легально ехать на фронт. Такая поездка на фронт теряла для меня всякий вкус и, следовательно, и смысл. Я отказался.

И стал по-прежнему ходить в реальное училище.

Отец-же заботясь о том, чтобы вторично я не выкинул чего-либо подобного, начал применять ко мне агитпропские методы и в частности говорил мне о том, что война ведется на далекой от России территории и что русскому народу она по-существу чужда и что добровольцами на нее идут лишь глупые гимназисты, а солдаты—по мобилизации. Так, по немногу, сам того не замечая, отец создал в моей голове представление о том, что война в сущности совсем не нужна и вредна. Война как сумма каких-то блестящих героических подвигов в моих глазах стала блекнуть.

Однако, внутренняя потребность двигаться, бороться, побеждать, во мне жила, и я удовлетворял ее, нападая на гимназистов, на уличных мальчишек—бойцов и т. д.

Однажды мне кто-то сказал, что в параллельном со мною в 3-м же классе в отделении В есть сильный мальчик Скрябин [1]). Я искал встречи с ним. Однажды в корридоре он мыл под краном губку для доски. Вид он имел несколько мрачный, как впрочем всегда. Я подошел к нему и предложил подраться. Скрябин согласился. Нанеся друг другу несколько возбуждающих ударов, мы сцепились мертвой хваткой на удовольствие всего корридора. Не помню кто из нас кого победил, но с тех пор мы были с ним знакомы.

Вскоре после этого случая мне показали одного реалиста, который на класс был старше меня. Это был мальчик с красивым лицом, румяный, но сутулый, с очень близорукими глазами, в очках. Про него я узнал, что он от неизвестной причины вдруг пытался повеситься в классе под партой. Это меня поразило чрезвычайно. Может быть инстиктивное желание спастись от неприятных ассоциаций толкнуло меня в компанию озорников, в компанию бесшабашной „комчатки", которая стреляла горохом в учителей, устраивала кошачьи концерты, прибивала гвоздями калоши учителей к полу, вымазывала чернилами фалды сюртуков учителей и т. д. и т. п.

---

1) Ныне Молотов.

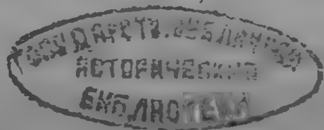
Этот конец года я был самый бесшабашный.

В один прекрасный день весной этого учебного года, т. е. в начале 1905 г., в нашей „комчатской“ компании прошел слух, что, сегодня будет забастовка, т. е. надо будет приготовить как можно больше гороха и во время большой перемены начать стрелять горохом в инспектора и всех надзирателей.

Заложив рогатку и горох за пазуху, в условленное время т. е. во время большой перемены, я был в большом зале и приготовился стрелять.

Ко мне подбежал один из самых отчаянных голов и заявил, что будут бить стекла. Не прошло и пять минут после этого, как действительно легкий звон стекла раздался в разных концах зала. В стекла стреляли горохом. Я тоже начал стрелять беспорядочно вправо и влево. Видел, как бледный инспектор Сергей Николаевич Сергеев пробежал мимо меня и распорядился прекратить занятия во всем училище и распустить всех.

Все ученики и надзиратели, что находились в зале были похожи на толпу путников, которые идя большою торною дорогой вдруг были поражены страшной молнией и вслед за нею поднявшимся вихрем. Лица всех мне показались такими необыкновенными, что я в изумлении стоял и смотрел и даже забыл, что в руках у меня



рогатка, а за пазухой горох, которым я должен был стрелять в окна.

Мне с разных сторон говорили, что это начинается забастовка. Однако, на другой день все было нормально. Так мы кончили учебный год 1904-1905.

В сентябре 1905 г. реалист седьмого класса Малиновский, получив у преподавателя Захарова по математике единицу, пришел домой и застрелился. Отец его был городским архитектором и принадлежал к радикальствующей русской интеллигенции.

На другой день я увидел как по залу, сцепившись под руки, прошли рядами по шести, по пяти человек несколько старшеклассников, крича „Товарищи на митинг!“ Я немедленно примкнул к такому ряду.

Мы вошли в помещение седьмого класса. На трибуне, т. е. на столе появился тов. Петров [1]), реалист седьмого класса и предложил выбрать председателя.

Все крикнули фамилию Петрова и он взял бразды правления. Слово было предоставлено тов. Клепцову [2]), который говорил примерно следующее:

---

1) Социал-демократ.
2) Тоже социал-демократ,

„Малиновский есть жертва школьного режима. Это режим, при котором бессмысленно зудят катехизис и извращенно запоминают историю, вроде того, царь Иван-болван пошел на Новгород и взял Новгород. Почему Новгород, зачем он пошел на Новгород, об этом в наших школах не говорят. Не говорят потому, что школьный режим есть часть обще-государственного режима, где царствует самодержавная палка. Поэтому, товарищи, долой самодержавие!“

И тут впервые я дружно вместе с другими громко провозгласил „долой самодержавие“!

„Нашим требованием—продолжал Клепцов— в настоящий момент должно быть одно: „митинги, митинги и митинги!“

Это требование—митинги, митинги и митинги,—наряду с возгласами „долой самодержавие!“, повторялось и многими, почти всеми, другими ораторами. С.-р., чтобы отличить себя от с.-д. начинали часто свои речи так: „Товарищи, помните, что только в „борьбе обретете вы право свое!“ Но в общем лучшими и влиятельнейшими ораторами были с.-д. Петров, Ковалевский и Клепцов.

Два дня шли митинги.

На третий—похороны Малиновского. Квартира последнего помещалась недалеко от часовни, в которой должно было отпеваться тело и к которой стеклись студенты, реалисты, техники-

ученики технического училища, гимназистки, просто интеллигенты и даже рабочие.

Когда я пришел к часовне, то заметнл как присяжный поверенный Осипов—смуглый и в темном пенснэ распоряжался. Входил и выходил из часовни. Говорил с отцом самоубийцы—архитектором, который с бледным лицом, обрамленным красивой, как у Христа, бородою, стоял, прислонившись затылком к колонне часовни и повидимому с полным безразличием отвечал на вопросы Осипова, который жестикулировал перед его лицом руками в серых перчатках.

Ко мне подошла старушка худая, сморщенная, в шляпе старой чиновницы, в старомодном рыжем жакете. С нею были две девушки. Старушка держала руки в карманах своего рыжего камзола и, обращаясь ко мне, говорила:

— Вот это он, это царь, губит нашу молодежь. Это—она показывала на часовню—не только жертва школьного режима—жертва самодержавия. Вы не знаете, неужели будут с иконами хоронить?

Я что-то ответил такое, что означало, что попов надо выгнать. Старушка пожала мне руку, назвала меня молодцом и углубилась в толпу, говоря уже кому-то другому, что это именно царь виноват [1]).

---

1) Эта старушка известная революционерка-анархистка Закржевская.

Наконец процессия тронулась. Попов выгнали. Я не успел оглянуться как был подхвачен под левую и под правую руку. Все сцепились рядами.

Мой сосед—студент низенького роста, пояснил мне, что сцепляются для того, чтоб казаки не могли разбить ряды. Я видел как над толпой взмахнулась рука в серой перчатке Осипова и вся толпа грянула Марсельезу. Я тут пел ее в первый раз и сразу же запомнил слова. За Марсельезой—похоронный марш.

Тут по дороге нам встретился трамвай. Это случилось как раз на Театральной площади. Толпа остановилась и я увидел, как на крышу трамвая взбирается маленький, ловкий человек с бритым лицом, с очень острыми, живыми глазами, с большими и нечесанными волосами, в какой-то неопределенного фасона, желтой тужурке нараспашку. Он влез и встал на крыше. Я видел его рыжие сапоги. И видел как дрожат от волнения колени его тонких ног. Человек этот начал говорить речь. И говорил не о Малиновском, не о школьном режиме, даже не о самодержавии—он говорил о рабочем классе. Здесь впервые я услыхал это понятие. От рабочего класса он перешел к только что закончившейся русско-японской войне и закончил свою речь громко, восторженно, вызывающе:

„Долой самодержавие!“

Все повторили за ним этот клич; старушка, стоявшая сзади меня, среди утихающих голов, вдруг выкрикнула: „Долой монархию! Долой царя!“ Толпа подхватила и этот клич. Оратор, стоявший на крыше трамвая, об'явил что мы сейчас двигаемся дальше, но что будем по дороге останавливаться для произнесения речей [1]).

Мы двинулись. На встречу нам показались раз'езды полиции. Они с обнаженными нагайками бросились было на толпу. Кто-то в первых рядах пострадал от ударов кнута. Но сцепившиеся ряды оставались сомкнутыми, как крепко спутанный клубок. После двух-трех попыток разбить толпу, конные полицейские отступились и, разбившись цепями, стали нас окружать.

Мы пели: „Смело, друзья, не теряйте...“ и „Варшавянку“.

Низенький студент, ветеринар, что был рядом со мною, вдруг толкнул меня в плечо и сказал:

— Видите, шпик,—он указал мне на крайнего человека в нашем ряду. Это был старик в солдатской шинели, с фуражкой одетой молодцевато набекрень. Вообще вся фигура старика являла собой бодрый вид старого полицейского или жандармского служаки.

— Я давно за ним слежу—продолжал сту-

1) Этот оратор—анархист Драверт.

дент,—Он пытался записывать говорившего оратора.

В это время мы уже выходили за город, к кладбищу и шли параллельно оврагу.

— Товарищи,—крикнул студент-сосед—сбросимте шпика в овраг.

Раздались крики: „Шпик! Бей его, вяжи! В овраг!“

Старика схватили. Он не протестовал и кажется был очен доволен, что его всего навсего только сбросят в овраг. Старика связали. Он как-то мягко отдался в об'ятия двух студентов, которые затянув его туго веревками, раскачали и сбросили в овраг.

На кладбище, перед выротой могилой Малиновского, говорили Петров и Кулеша [1]).

Отдавши тело земле, процессия двинулась обратно. Всякий встречный трамвай останавливался. На него влезал или опять Драверт или Кулеша или „Рабочий Алексей“ [2]).

Так толпа дошла до Университета. Здесь Осипов четким, грудным голосом об'явил, что это первая политическая, революционная демонстрация, благодаря энергии и находчивости самих участников, сошла очень удачно и что скоро на этих днях в Университете начнутся митинги,

---

[1]) Старый соц.-демократ, убитый следователем в Тобольске в 1913 г.

[2]) Т. е. тов. Лозовский.

где будут выступать с.-р. и с.-д. На митинги эти приглашаются все желающие и особенно рабочие.

Ночью этого дня, возвращаясь от одного товарища домой, в темном переулке, где неподалеку был завод, я встретил тов. Драверта, который нес на спине ящик с какими-то инструментами, а на плече большой молоток кузнеца. Поравнявшись со мной, Драверт оглянулся, не шпик ли я, не стану ли подсматривать.

Впоследствии я слышал, что он работая в революционном движении, работал рабочим на каком-то заводе. Был, как мы сказали бы теперь, „у станка". Тогда „у станка" приходилось быть нелегально.

— Недели две спустя после похорон тов. Малиновского, во время большой перемены, один из „комчатчиков", Виктор Шмелев, в сопровождении другого не менее отчаянного юноши Кешнера, взошел на кафедру и, стукнув кулаком по столу, водворил в классе иекоторую относительную тишину. Тогда Кешнер громко возгласил:

„Товарищи, кто хочет записываться в нелегальные кружки, записывайтесь!"

Шмелев вынул бумажку, повторил возглас Кешнера вдвое громче и стал ждать желающих. Подошли двое-трое, в том числе и я. Кто-то спросил у Шмелева:

— А это кружки с.-р. или с.-д.?—Шмелев кричал на вопрошающего:

— Какие к черту с.-д.—безусловно эссеровские!

А на другом конце стола Кешнер пояснял низенькому и очень сметливому реалисту Мастбауму, что кружки будут несомненно социал-демократические.

Когда на записке Шмелева стояло около двенадцати фамилий, он громко об‘явил, что кружок собирается в поле, за вокзалом, около разрушенного стекольного завода и что один, кажется, Кешнер, будет встречать приходящих около вокзала и что Кешнеру надо говорить такой-то пароль.

Согласно всех этих „анонсов“, мы утром в воскресенье собрались за вокзалом. В нескольких шагах от нас вздымались к небу разрушенные стены бывшего завода. Около стен кучи кирпичей, которые постепенно обваливались со стен. Между кирпичами лопухи.

К нам должен был прибыть человек, которого все называли „пропагандист“ и который долго не показывался. В ожидании мы разговаривали о мертвом заводе. Кто-то сказал, что его руины теперь служат убежищем разбойников и нищих. Это подтвердили многие. Стали рассказывать удивительные случаи грабежей и убийств,

совершенных разными разбойниками, для которых руины заводские были страшным притоном. Кто-то сказал, что вместе с нищими здесь не раз ночевал и Максим Горький.

В это время из-за руин завода показался вдруг человек, который прямо направился к нам. Мы притихли. Молодой человек в кепке, в сером пальто, в рыжих сапогах, подошел к нам, сказал условленный пароль и занял место в центре. Это был старший брат Шмелева, Иван Шмелев, реалист последнего класса, товарищ Петрова и Ковалевского и социал-демократ. Он то и был „пропагандист“. В этот раз он стал читать нам брошюру Бракэ „Долой социал-демократов“. По прочтении его собственный брат возражал ему, так как считал себя эсером. Спор братьев поделил весь кружок на две неравные части—большинство было соц.-рев. — меньшинство — с.-д. Расколовшись в первый же раз, мы решили собираться сепаратно. Я примкнул к соц.-революционерам.

Не знаю что было с соц.-дем. кружком Он еще несколько раз собиралсл. Туда, как я потом узнал, примкнул мой соклассник, тот-самый Скрябин, с которым я подрался в свое время. Наш же соц.-рев. кружок не собирался вовсе. В этот период как раз я по школьной программе проходил экономическую географию России. И

помню то внезапное большое впечатление, которое произвел на меня вопрос неожиданно выливщийся из читаемых мною сведений.

Я читал: „Донбасс замечателен тем, что там добывается уголь. Или: в районе Лодзи производятся различные мануфактурные изделия. На Урале обрабатывается добываемое железо и т. д. И вот из глаголов, приведенных почему то в возвратном залоге и в безличной форме: добывается, производится, обрабатывается, для меня всплыл вопрос: Кем же, какими руками? Вероятно, у каждого этого дела стоят прежде всего люди с их склонностями, с их индивидуальными особенностями, с их песнями, любовными увлечениями, горестями, радостями. Живые, живые люди. Уголь не может из земли появляться сам, железо не может обрабатываться само, мануфактурные ткани не могут „производиться“ сами. Кстати, мануфактурные ткани мне очень хорошо были известны непосредственно, так как отец имел мануфактурный магазин и портновскую мастерскую, где работало 10—12 чел. рабочих.

Это изучение экономической географии России, этот вопрос и вместе с тем ответ, всплывший так неожиданно, возбудили во мне горячее желание разговаривать с самими рабочими. Приэтом, когда в представлении своем я чувствовал это слово „рабочий“, у меня не возникала

ассоциация, что это угнетенный, подавляемый, эксплоатируемый класс. С понятием „рабочий“, у меня связывалось представление творца, который из железа делает полезные предметы, из утробы земной достает нужный нам сырой материал. Угнетение же, эксплоатация рабочего класса мне тогда представлялись в форме огромного количества тяжелых паразитов—грибов, которые обсели, облепили все тело рабочего и мешают его творчеству. Рабочего я всегда сравнивал с Прометеем.

Познакомиться и разговориться хотя бы с рабочими моего отца мне было трудно, не было предлога зайти в мастерскую, да если бы и был предлог, то рабочие всегда, ведь, могли подсмеяться надо мною, дескать, хозяйский сынок пришел.

Из затруднений этих меня вывел один счастливый случай.

Квартира у нас была на Малой Проломной улице, в д. Майкова [1]), а магазин отца и мастерская—на Воскресенской—рядом с Городской думой. Осенью 1904 г. отец получил квартиру в том-же доме, где был его магазин. Чтоб перебраться туда, отец мобилизовал своих рабочих, которые рано утром однажды пришли к нам для переноски мебели.

---

[1]) Владетели знаменитой булочной.

Помню когда шестеро из них стали взваливать себе на плечи тяжелый рояль, один рабочий смуглый, высокий с черными умными глазами, смотрящими из под-лобья, вдруг запел прекрасным, сильным тенором [1]):

„Имянинный пирог из начинки людской
„Брат подносит державному брату
„А на севере ветер холодный шумит
„И заносит крестьянскую хату...

Прекрасный, выразительный, незабываемый голос...

Его поддержали остальные:

О-о-ой дубину-у-ушка ухнем
Р-р-раззеленая сама пойдет
Подернем, подернем, подернем
Да ухнем!

Ухнули рояль на канатах себе на спины и пошли к выходу. Я последовал за ними. Спев еще несколько строк дубинушки, А. Д. Пресняков обратился к своим товарищам:

— Споем штоли настоящую?

— Да, а городовые-то – отвечали в смущении другие.

— А что городовые?! Пусть тащат в участок с хозяйским добром. Поддерживай—заключил он. И опять крепким, рассыпчатым тенором легко и свободно:

---

[1]) Это был Андрей Дмитриевич Пресняков, живущий кажется и по ныне в Казани.

„Отречемся от старого мира
„Отряхнем его прах с наших ног.

Я слышал Марсельезу впервые и шел за рабочими, как тогда за солдатами. И как тогда с солдатами мне захотелось больше никогда не расставаться, так теперь с рабочими. Но тогда солдаты я знал отчетливо куда идут: они шли на войну. А рабочие? Куда они? Они всего только переносят мебель моего отца!

Однако, эта переноска мебели меня так близко познакомила с рабочими, что они сами попросили меня приходить к ним рано утром, когда нет хозяина“ и поздно вечером, когда тоже „нет хозяина“, но когда остаются рабочие для спешной работы. С этого дня я, прежде чем отправляться в школу, приходил в мастерскую к рабочим, помогал им растапливать плиту, греть утюги, а над всеми этими новыми функциями главенствовало одно: политические разговоры и споры.

Рабочий А. Д. Пресняков был с.-д., другой рабочий—с открытым лицом, с всегдашней улыбкой на устах, с большими, но глубоко сидящими голубыми глазами, с беловатыми усами, и белой маленькой бородкой, как у чуваш—Александр Михайлович Михайлов—тоже с.-д. Третий рабочий—низенький, грязный, рябой, черный, с живыми, всегда озабоченными глазами, много-

семейный—Макарыч—тоже с.-д. Четвертый—худощавый, но краснолицый, с белыми как лен волосами в косой ряд, с виду угрюмый, а по существу комик, с длинными белыми усами, без бороды, очень немногословный—Александр Семенов и он с-д. Пятый рабочий—красавец с бледным лицом, с красивой черной шевелюрой, с черными усами—тоже обремененный большой семьей—дерзкий и остроумный—Петров, опять таки с.-д. Шестой—рябой, бритый, с немного вьющимися волосами, высокий и широколицый, говорящий усиленно и в растяжку на „а", по московски—долго работал в Москве—снисходительно иронический ко всем провинциалам—неизменный Дон-Жуан—фамилия его выскочила у меня из головы, но и он с.-д. и наконец седьмой с.-д.—это Попов—ныне большевик, работающий в Москве, кажется в мосторге.

Соц.-рев. было два: это, во-первых, Шапошников—благообразное, немного с рябинами лицо, борода лопатой, всегда уравновешенный и напоминающий либо сельского старшину, либо церковного старосту и, во-вторых, молодой паренек, только что приехавший в Казань после грандиозного пожара в Сызрани, аккуратно, но бедно одетый, с задумчивыми, печальными глазами,—фамилия его тоже выпала из памяти. Остальные несколько человек рабочих были беспартийные,

Социал-демократы с социалистами-революционерами вели горячие споры. Благообразный Шапошников, видя мою склонность к соц.-рев. стал приносить книжечки и просить меня читать рабочим в те утренние часы, когда я бывал в мастерской.

Первая книга была Бах „Экономические очерки“. Я ее прочитал в три-четыре утра выразительно громко, сидя на портновском катке и тотчас-же по прочтении разгорался спор между соц.-рев. и соц.-дем.

За Бахом я стал читать Дикштейна и целый ряд книг соц-рев. и народнической беллетристки, как-то „Домик на Волге“, „Андрей Кожухов“ и т. д. Начитавшись этих книг, я сам стал горячо полемизировать с рабочими соц.-дем. Должно быть слух о моем добровольном „пропагандительстве“ дошел до каких-то соц.-дем. кругов и они видимо решили для соц -дем. части рабочих дать своего пропагандиста.

Об этом узнал все-тот-же благообразный Шапошников, который однажды утром шепнул мне:

— Знаете соц.-дем. посылают против нас силу, студента Юрьева, который будет на днях что-то читать на кружке. Я предложил для кружка свою квартиру—приходите и подготовьтесь, чтобы Юрьева разбить, как следует.

Полагаясь на свои знания, почерпнутые из Баха и произведенний Степняка Кравчинского,

я отправился в Пороховую слободу на квартиру соц.-рев. рабочего. Придя туда (в воскресенье утром), я заметил бледнолицого худого интеллигента в студенческой куртке. Я заметил беспокойный взор его глубоких черных глаз, которые щупали одного, другого, всех присутствующих: не предатель ли? Два раза оглянулся Юрьев на окно, около которого сидел, чтоб можно было в случае чего выскочить. Рабочие предложили ему сесть в середину, за стол. Он предпочел остаться у окна.

Началось чтение, кажется, листовки Троцкого: „Что такое социалисты-революционеры“. Впрочем не ручаюсь: может быть это была какая-нибудь другая брошюра или статья, но во всяком случае направленная исключительно против соц.-рев, После чтения я немедленно взял слово. Не помню. что я говорил. Помню, что говорил горячо. И помню снисходительную улыбку, улыбку не губ, а глаз Юрьера, который мне сказал:

— Вы, товарищ, так горячо защищали соц.-рев. не потрудитесь ли вы изложить нам хотя бы кротко отношение соц.-рев. к аграрному вопросу?

Я не только не мог ответить на этот вопрос, но слово „аграрный“ слышал впервые, так как рабочие в спорах своих этот вопрос всегда называли „земельным“, а у Баха к слову „аграрный“ есть пояснение, которое к тому времени прошло, видно, мимо моего внимания.

Несмотря на то, что я не мог ответить, я стал отвечать. Выслушав несколько моих фраз, Юрьев перебил меня:

Не будем спорить, так как Вы, видимо, никогда не читали соц.-рев. аграрной программы.

Положив меня без боя на обе лопатки, Юрьев стал по пунктам толковать программу соц.-дем.

Я сидел сраженный, сконфуженный. По окончании собрания я стал просить рабочего Шапошникова не укажет ли он что мне надо читать по аграрному вопросу, но Шапошников не мог мне указать литературы и даже сам это слово произносил „аргарный".

Мои утренние и ночные бдения в мастерской от этого не заглохли, одноко. Я продолжал читать вслух рабочим революционно-художественную и революционно-популярную литературу.

Однажды за таким чтением меня застал отец.

По своему обычаю, он пригласил меня к себе в кабинет и говорил:

— Ты знаешь, что ты делаешь?

И не помню в каких словах, но стал рисовать мне страшную картину восстания хама в лице рабочего. Слепые, глупые тупые чуваши, развязные и наглые русские мужики, пьяницы и лентяи города, хотят восстания, свержения короны, бога, нравственности, порядка и вслед

за этим свержением, грозная желтая опасность в лице Китая и Японии хлынет на цивилизацию. Общественные перспективы ужасны. Личные еще ужеснее: о моей деятельности узнает полиция, жандармерия, меня увозят в черной карете в тюрьму и там висилица. В этом месте отец повторил мне рассказ, который я не однажды слышал из уст моей бабушки, очевидцы покушения Каракозова на царя. Когда Каракозова арестовали и повели сквозь толпу к черной карете, Карекозов только успел крикнуть кому-то в толпу:

— Передайте матери, что меня взяли.

— Так и ты—заключил отец—не увидишь ни отца, ни матери.

Недавнее мое поражение в споре с Юрьевым научило меня не вступать в спор, без достаточных знаний. Поэтому я воздержался от возражений отцу.

Но с этих пор вход в мастерскую мне был затруднен.

Произошло 9-ое января. О нем я узнал из уст отца, который при мне сообщал об этом событии купцу Василию Ивановичу Швалеву [1]). Швалев крякнул раза два и выругался—привыч-

---

[1]) Живет, кажется и поныне. В 1919 г., будучи в запасной армии, я был однажды командирован на лекцию в тюрьму. Среди моих слушателей-арестантов тюрьмы я видел Швалева,

ка у него была такая хрюкать носом, да приговаривать русское словцо.

— Теперь—сказал он—поостерегаться надо. А твои-то—он указал большим пальцем по направлению мастерской, где сидели рабочие—поди все они красные?

Я только тут понял, что все социалисты называются красными.

— Все красные—ответил отец.

— Гнал бы их в шею. Много шатается ведь без работы.

Отец ничего не ответил. Посмотрел на меня.

Этот разговор о красных поднял во мне такое неприязненное чувство против Швалевых, что на другой день я открыто, только что прийдя из школы, забрался в мастерскую и читал рабочим о 9-м января.

Вскоре после этого я увиделся с тем моим двоюродным братом, Сергеем Смирновым, который раньше был патриотически настроен и также настраивал меня. В этот раз я из его уст услышал какие-то ужасно пронзительные речи о том, что если царь стрелял в иконы, ему грош цена. Такого царя можно и убить. Народ ему этого не простит; воскреснет Желябов и Перовская, встанут и восстанут шлиссельбургские и петропавловские мученики, наконец проснутся тени декабристов, сам Чаадаев и т. д.

К этому времени С. Смирнов оброс немного черными усами, был смугл, при произнесении речей страшно вытаращивал глаза и мне казалось, что он где-нибудь изготовляет бомбы На мой вопрос кто-же он теперь,— он с гордостью ответил: „Социалист-революционер“.

Это меня одновременно обрадовало и испугало. Обрадовало потому, что нашелся еще один однопартиец, а испугало потому, что С. Смирнов так яростно произносил какие-то пустые революционные тирады, что мне всегда хотелось его остановить и предложить ему и мне самому обдумать только что сказанное.

Моя мать очень сочувственно отнеслась к идеям Сергея Смирнова и через него связалась с соц.-рев. Стала у себя принимать общество эсерствующих интеллигентов и студентов и вообще как-то сразу была вовлечена в круговорот общественной жизни и в нашей скромной квартире очень скоро создался небольшой революционный, по существу эсеровский, салон-клуб. Студенты засиживались поздно, произносили революционные речи, пели песни про народную скорбь, декламировали „Зачем же в белом мать была“ и „Будду“—Мережковского.

Отец, разумеется, смотрел на эти вечера очень косо, но пока-что терпимо, так как ядром то этих вечеров были родственники с его сторо-

ны: это С. Смирнов и двоюродный брат моего отца Михаил Дмитриевич Болдов [1]. Последний производил на всех большое впечатление. По внешности он настоящий русский интеллигент с правильным русским лицом, с окладистой бородой, тонкими пальцами рук, мягким, немного картавящим голосом. Он прежде чем попасть в наше общество, вращался в московских кругах и поэтому каждое его слово в провинции расценивалось, как голос центра. По характеру своему— это упорный человек, упорный прежде всего в своих идеях, в беседе остроумный и подчас, особенно с врагами,—резкий. В голосе его, когда он произносил речи, была та особенная выразительность, которая присуща ораторам, когда они говорят, что нибудь для истории. Излюбленной темой его речей было не столько самодержавие и революция против него, но мещанство людское, русское, провинциальное убожество. Он буквально громил провинциальное мещанство и пугал всех, кто ценил спокойную, уравновешенную жизнь.

Помню на меня произвела большое впечатление его речь о проституции. Кто-то из чисто-мещански настроенных—а такие тоже были—

[1]) Живет и поныне в Нижнем-Новгороде—целиком стоит на стороне большевиков и совершенно порвал с соц.-рев.

сказал про какую-то девушку, что она „легкого поведения“.

В это время М. Д. Болдов делал себе бутерброд. Он, бросил хлеб, масло и ножик на стол, возмущенно повернулся к мещанскому гостю.

— Как же вы не понимаете,—сказал он— что проституция—это социальное явление? Она корнями связана с частной собственностью, его средствами производства, и обрушился на несчастного гостя с такой силой социологических аргументов, что гость, кажется, почувствовал себя оскорбленным и предпочел вскоре уйти.

Видя неустранимость революционных вечеров, отец начал вести по отношению ко мне контр-агитацию словом и делом. Ближайшим поводом к контр-агитации послужило мое заявление о желании ехать в Москву; Это желание возникло вследствие того, что один мой товарищ Валериан Бекренев перебрался туда и именно по мотивам необходимости участвовать в революционном движении. Этот товарищ как и вся его семья, выехавшая из Сибири, принадлежала к тому особенному типу русских разночинных людей или, лучше сказать, русской городской бедноты, которая всегда готова принять участие во всяком революционном взрыве, не связывая себя, однако, никакой партийной программой. На поездку в Москву для принятия участия в

революционном движении Бекренева побудило известие о первой и блестящей экспроприации Государственного банка в Петербурге, совершенной Белицким. Этот Белицкий, будучи вскоре пойман, бежал, соскочив с поезда, выскользнув из рук жандармов и только потом, будучи случайно арестован как беспаспортный, он был обнаружен как Белицкий. Все это до необычайности разжигало наше воображение и вызвало принять участие в подобных предприятиях.

Узнав, что за Бекреневым и я хочу подтянуться в Москву, отец устроил со мной беседу в присутствии одного московского вояжера, Веллера. Это—представитель лодзинской мануфактуры, поляк, белокурый, седеющий, всегда в крахмальном белье, европеец.

Про революционное движение он говорил немного капризным голосом как про скверные духи, случайно купленные вместо хороших. Он говорил, что царь справится с этим движением, но что ему, Веллеру, жалко будет тех мальчиков, которые при этом пострадают. Отец тут-же толковал мне так:

— Вы хотите, что бы мужики, безграмотные и пьяные рабочие, были министрами. Мы бы против этого не протестовали, если бы мужики и рабочие имели навык к управлению. Вот ты, например, сын мануфактуриста и хочешь, не

хочешь, когда ты будешь самостоятельным, ты в этом деле будешь понимать больше чем твои окружающие, при прочих равных условиях. Точно также в среде, например, Треповых, люди имеют уже родовой навык управлять страной.

А возьми наших рабочих где, чем, когда они управляли?

Я отбивался как мог и от доводов отца и от контр-революционного кокетничания Веллера.

В конце концов я решил бежать в Москву, если бы одно обстоятельство не задержало меня. Как-то в театре я встретил реалиста Яковлева, классом старше меня, которого мы звали просто Яшкой и который был к этому времени исключен из школы за невзнос платы Яковлев отвел меня в сторону в фойэ театра и спросил хочу ли я записаться в боевую дружину партии социалистов-революционеров. Я ответил полным согласием. Яковлев спросил—сть ли у меня оружие. У меня был револьвер системы Смит-Вессон, подаренный мне осенью 1904 г. моим дедушкой народовольцем (отец моей матери). Я об'яснил это Яковлеву. Он был удовлетворен и сказал, что я буду числиться в его, Яковлева, десятке и по первому зову делжен буду с оружием явиться в то место, куда он, Яковлев, укажет.

Подходило время всеобщей забастовки. В

этот период я встретился с Львом Левиным, [1])— тоже реалист одного класса со мною, но другого отделения. Лев Левин пригласил меня к себе и стал читать мне свои революционные стихотворения. Были и сатирические. Например, на одного очень аккуратного первого ученика Никитина, который втайне сочувствовал революции и персонально ко всем нам, подозрительным относился сочувственно, но громко боялся об этом говорить и вообще всегда всегда боялся. Давая свою тетрадку Левину, где были решения трудных задач, он спросил эту тетрадь никому не показывать. По этому поводу Левин на задней странице его тетради написал:

„Милый мальчик, ты боялся
„Как бы имя твоего
„Не внесли в число крамолы
„Подхолимы Дурнова...“

Дальше не помню. Тут же Левин заметил мне, что есть однако, такие „первые“ ученики, которые не побоятся стать на нашу сторону открыто и назвал мне Скрябина (ныне Молотова). Я усомнился и сказал, что Скрябин черезчур уж прилежный ученик, чтоб быть ему революционером. Левин не соглашался со мной и продолжал утверждать, что Скрябина можно завербовать.

[1]) В настоящее время живет в Америке, в Чикаго и целиком сочувствует нашей партии.

Левин тогда еще не выбрал партии и колебался. Он склонялся скорее с соц.-революционерам. Я незамедлил предложить ему вступить в боевую организацию. Он согласился. Но согласился как-то особенно, романтично, рыцарски. Словно он любил кого-то неудовлетворенной любовью и вот с головой погружался в возможность прекрасной смерти на баррикадах. (Впоследствии я узнал, что это и в самом деле отчасти было так).

Мы часто удалялись с ним загород. Читали Надсона (в этот-то период)! и тургеневского Рудина и Некрасова. Говорили о красоте свободы. Весело смеялись над полицией, попами, жандармами, мещанством, убожеством нашей общественной жизни. Левин натолкнул меня на чтение Лассаля, Прочитав основательно, с выписками. „Сущность конституции", я перешел к книге Лассаля „Капитал и труд". Лассаль мне тогда безумно понравился и я не без удовольствия целыми страницами его выписывал себе в тетрадь [1]. Тогда же прочитал Энгельса „Развитие семьи, частной собственности и государства". Эсеры говорилы мне, что Энгельс больше им сочувствует, чем Маркс. Этот удивительный эсеровский предрассудок долго держался в головах многих.

[1]) Она потом попала к жандармам.

Однажды меня вызвал „Яшка“, но не для боевого дела, а для пропагандистского. По вопросу всеобщей забастовки соц.-рев. и соц.-дем. у нас выступали вместе. Мне была дана кипа прокламаций с требованиями рабочих и меня обязали это раздать рабочим—портным и повести среди них агитацию за забастовку, которая должна начаться такого-то числа.

В этот день, отдав часть прокламаций Левину, я вихрем влетел в нашу мастерскую и начал комментировать прокламацию и те требования, которые рабочие должны пред‘явить хозяевам. Потом я ходил в другие мастерские. Дня три продолжались горячие дебаты. Приэтом дебатировался не вопрос о том, нужна или ненужна забастовка, а вопрос о том, насколько далеко надо идти в своих требованиях. Настроение рабочих делалось таким горячим, что наш, например, рабочий Петров, крупно поговорив о чем-то с моим отцом, вышел на улицу, взял камень и выбил зеркальное окно магазина. Другой рабочий—Семенов, в эти же дни при мне говорил моему отцу примерно следующее:

— Мы, конечно, скотина незлобная, мы снисходительные. Вот например, все это—и ваш магазин и ваша квартира, все это наше, рабочее, а вы сидите здесь из-за нашей любезности. А

ведь могли бы мы и попросить вас того... Конечно, мы вежливые...

Этот разговор был в субботу.

В понедельник или вторник началась стачка.

Я имел возможность видеть отношение к стачке хозяев, так как предприниматели типа моего отца собрались у отца на квартире. Почти все они, эти предприниматели и поныне здравствуют в столице Татреспублики, в Казани[1]).

К моему удивлению, отец и еще двое, трое стояли за немедленную уступку рабочим всех их требований. Приэтом мой отец говорил, например, что требования весьма скромные, что в такое время, какое мы переживали, они могли запросить куда гораздо больше. Большинство решительно возражало против этого. А один предлагал просто „морды набить рабочим".

Решено было уволить бастующих рабочих. Отец мой отказался подчиниться этому постановлению и вступил сепаратно в переговоры с рабочими. Помню, как он стоял в мастерской и пункт по пункту разбирал требования. В это время в мастерскую влетел тот самый, который предлагал „набить морды" забастовщикам и, увидя рабочих, бросился на них с кулаками.

Ретивый хозяин успел ударить молодого соц.-рев., приехавшего из Сызрани, так как он

1) Отец мой умер внезапно в 1912 г.

был делегатом от рабочих и разговаривал с моим отцом. Рабочие и мой отец бросились к нападавшему, но он быстро выбежал на улицу, потрясая кулаками от злобы. Из-за этого соглашение моего отца с забастовщиками не состоялось.

Забастовка длилась неделю, Штрейбрехеров не было. Хозяева собирались в гостиннице „Китай“ и дискуссировали создавшееся положение. Наконец, точка зрения моего отца взяла верх и рабочим уступили полностью. Кстати же и я получил право легально, даже при отце, быть в мастерской и во время работы читать рабочим книги и газеты. Кроме всех требований, рабочие добились еще одного: свободно петь революционные песни. И с тех пор, в течение нескольких лет, вплоть до моей первой ссылки в 1909 г., блестящий тенор А. Д. Преснякова бодро, радостно, оглашал воздух душной мастерской „Марсельезой“, „Варшавянкой“, „Смело, товарищи, в ногу“, „Дубинушкой“ и т. д. Другие рабочие своими немного хриплыми, басовитыми голосами поддерживали его.

Лето 1905 г. семья наша проводила в деревне и я имел возможность беседовать с крестьянами. Это было лето, когда в губерниях Саратовской, Самарской, Тамбовской и др. пылали помещичьи усадьбы.

Владелец дачи, которую мы снимали, старик крестьянин, кулачек, имел в доме мужа своей дочери, бедного крестьянина, но звали его Иван Ильич Шкурин [1]).

Деревня, где мы жили была в 8—10 верстах от города и называлась Малые Дербышки.

Тут я стал беседовать с крестьянами по земельному вопросу, развивая идеи эсеров. И тут именно крестьяне и прежде всего Иван, посеяли во мне первые сомнения в правильности эсеровской социализации земли. В моих беседах с крестьянами дело обстояло так, что я уверял крестьян, в том, что они общинники, а крестьяне осторожно мурлыкали, почесывая в затылках:

— Конешно общинно, там-то уж мы сумеем землю то поделить, лишь бы ее нам взять. Мы распорядимся.

А когда я начал развивать идеи соц.-рев. о так называемом „праве на труд", то это встретило открытую оппозицию крестьян:

— Зачем это будут к нам другие приходить?! Нас достаточно. Крестьянам бы только рассеяться по земле.

Из этих случайных бесед по вечерам, на завалинках, я все-же составил эсеровский кру-

---

[1]) Он кажется жив и теперь является горячим защитником Советской власти.

жок из молодых парней. В этот кружок входил и Иван, но представлял собой всегда оппозицию моей эсеровской агитации.

И замечательно: когда я попробовал было в крестьянском кружке читать эсеровскую народническую беллетристику, то она как-то мало прививалась слушателям. Рабочие бывало с большим интересом относились к этого сорта литературе. Крестьяне же все требовали об'яснения программ и особенно земельной.

Разница отношений к революции рабочих и крестьян отразилась как солнце в капле воды в настроениях бывших у нас, так наз., дневальных. Сначала у нас дневальным был сын сапожника, 15-летний мальчик, Александр,—фамилию не помню. Он обладал прекрасным альтом и пел грустные песни. Например:

„Ни ковыль, ни трава не шелохнется,
„Один грустный напев в поле слышится,
„Напевает пастух песнь унылую,
„Вспоминает порой свою милую...

Когда осенью мы переехали в город, Александр показал мне прокламацию, которую он нашел у нас в мастерской. На прокламации был девиз: „Пролетарии всех стран, соединяйтесь!“ Я стал критиковать соц.-дем. прокламацию. Она была написана по поводу полугодовщины 9-го января. Александр же, лежа на своей кровати и,

задирая ноги в сапогах на стену, ядовито отвечал мне:

— Это, что ты говоришь, я не знаю, а вот как наш брат пролетарий об'единится! Что тогда будет? Вот это оно самое главное и есть!—Александр воодушевился, сел на кровать и поднял палец:

— Понимаешь, всех стран и один только пролетарий! Тут и прокламациев даже нечего писать, тут, понятно, жизнь сызнова, по другому начнется. Нам и не надо никаких программ, лишь бы только соединиться, а потом все само пойдет.

— Значит ты соц.-дем.?—спросил я.

— Не знаю, а только главное считаю—это соединить пролетариев.

И так настойчиво повторял это Александр, так сильно, выразительно говорил о соединении рабочих *всех*, *всех* стран, что и мне показалось, что это задание большое, самое большое и самое трудное. Я даже пожалел почему это у соц.-рев. нет такого лозунга.

Вскоре этот Александр ушел от нас и его заменил парень из деревни—Степка. Высокий, с маленькой вертлявой головой, с маленьким носиком, с веселыми глазами, белобрысый, плясун,

Пел и плясал;

„Красноносые алтынники
„Все Касьяны имянники....

Хорошо играл на гармошке.

Выслушав мои речи о земельной программе эсеров, он воскликнул:

— А ведь и верно,—у моего отца тоже земли мало!.

Потом удалился в угол и там что-то писал кажется всю ночь. Утром на другой день он прочел мне письмо, которое написал крестьянам своей деревни (Спасского уезда) о том, чтобы отбирали землю у помещиков. В письме было, между прочим, одно замечание приблизительно такого рода: „Только землю отбирайте без программов, а прямо себе“...

Письмо это я взял себе и обязался доставить его крестьянам. Сделать это мне было тем легче, что незадолго до этого Левин мне сообщил, что некий гимназист соц.-рев. Михайлов-Двинский [1])—(отец его—присяжный поверенный в Казани, известный соц.-дем.—подробно о нем речь впереди) отправляется на пропаганду в деревню.

Вскоре я увидел гимназиста Михайлова-Двинского сам.

---

[1]) Умер 3—4 г. тому назад в Казани (Ред.).

В сентябре 1905 г. в Казанском Университете начались публичные лекции соц.-дем., приехавшего из Саратова. Он об'езжал со своими лекциями поволжье[1]. Лекции его происходили в вестибюле Университета и на них стекалось огромное количество народа. Лектор был прекрасный. Никогда не забуду как ясно излагал он происхождение прибавочной стоимости. Когда он делал заключительные фразы, ввыпадающие по смыслу одна из другой, естественно, как зерно из скорлупы, я видел как рабочие, стоявшие рядом со мной, инда крякали, чувствуя последовательность выводов и приговаривали:

— Так, так, так.

Один столяр, в темных очках, даже палкой пристукивал и крутил головой, обращаясь шопотом к окружающим.

— Господи Исусе, как просто, и что это мы, братцы, раньше не могли догадаться.

Другой рабочий, старичек, отвечал ему шопотом, в кулак:

— Оттого, что где бы подумать, мы только пьянствуем.

— Это верно, у нас водка ум отшибает— соглашался столяр.

Много других вокруг себя я видел лиц, просветленных неожиданно открывшимся им знанием.

---

[1]) Это был т. Почерн (Западный), приехавший на областную конференцию и читавший по пути лекции.

Помню как однажды во время одной из следующих лекций того-же лектора, один извозчик из аудитории не выдержал и, когда лектор только что кончил, извозчик попросил слово. На трибуну вошел, рябой, рыжий извозчик в широкой поддевке, подбитой ватой, в извозчичьем цилиндре. Он снял цилиндр, поклонился на три стороны и сказал приблизительно следующее:

— Прямо все это, товарищи, для нас черезчур верно. И еще святой отец Никифор говорил об этом и другие пророки. Этому капиталу давайте, давайте, товарищи, отшибем голову сразу. Больше немысленно слушать об его эксплуатации. Довольно, товарищи, слушать! Идемте все против капиталу! Больше невтерпеж!

Потом я узнал, что этот извозчик принадлежал к какой-то секте староверов.

Приблизительно через месяц лектора соц.-демократа сменил лектор соц.-рев.,—молодой человек, бледный, красивый, с черной шевелюрой. Он читал рефераты о роли личности в истории. Его аудитория была несколько другая, по преимуществу студенческая. Председателем как на предыдущих лекциях, так и на этих были соц.-дем.: на предыдущих был студент Герман — меньшевик; на эсевовских—студент Эмдин—тоже меньшевик, человек с приемами парламентария;

вежливый, решительный и мягко, но выразительно остроумный.

Лекции соц.-рев. кончались пением революционных песень. Однажды, когда мы пели „Вы жертвою пали“ и дошли до слов: „Настанет пора и проснется народ“, из присутствующих вдруг поднимается низенького роста, румяный, белокурый гимназист и, простирая руки вперед, кричит:

— Стойте, неверно, неверно; не „настанет пора и *проснется* народ“, а „настала пора и *проснулся* народ“.

— Браво! Уррра!—загремела аудитория и все запели:

„Настала пора и проснулся народ“.

Крикнувший это и был гимназист Михайлов-Двинский. Я назначил ему свидание в пассаже перед его от‘ездом в деревню.

В пассаже мы гуляли долго, толкуя об аграрном вопросе. Я дал ему письмо паренька в деревню. С ним уехал Михайлов-Двинский на пропаганду в деревню среди крестьян.

Между тем, атмосфера накалялась. Спорные страсти разыгрывались среди соц.-рев. и соц.-дем.

Однажды, когда оратор соц.-рев. возразил соц.-демократ Герман, на трибуну поднялся соц.-рев. кавказец. Речь его была кратка:

— Товарищи! Соц.-дем. все говорят вам и говорят, и говорят, и говорят. А говорить тут нечего. Тут надо кликнуть клич: всякий честный человек, запасайся браунингами, шашками, бомбами и кинжалами!

Я, помню, вместе с другими усиленно апплодировал этому оратору, но придя домой невольно подумал, а ведь эсер-то в своем реферате был более многословен, чем эсдек Герман!

В другой раз другой кавказец, до того был возмущен речью деликатного эсдека Эмдина, который неумолимо холодным тоном и четко парировал удары эсеров, что вбежав на трибуну кавказец не мог выговорить слов, а сжав кулак на правой руке, сделал просто вокруг своего носа несколько решительных и грозных жестов и, под общий смех и апплодисменты, сошел с трибуны.

Наконец 16-го октября 1905 года Яковлев, встретив меня на улице, заявил, что на сегодня назначена демонстрация, а завтра вооруженное восстание, чтоб я был при оружии и в пассаже.

Я рассказал об этом своей матери которая все время продолжала держать связь с соц.-рев. кругами и тоже знала об этом. Она обласкала меня и сказала, что при восстании будет со мною вместе. От отца мы конечно это скрыли.

В 12 часов дня от Университета пошла огромная демонстрация. Полиция, которая до сей поры фактически бездействовала, вдруг с яростью и в хорошо организованном порядке бросилась на демонстрантов. В этот раз я на своей спиие испытал, что такое нагайка. На моих глазах был убит гимназист, которому конный полицейский ударил сильно по виску. Я видел, как он зашатался, хотел поднять руки вверх, но бледный упал плашмя на мостовую мертвым. Видел я как одну пожилую даму трое конных полицейских, окружив с трех сторон и прижав к стене, били нагайкой до тех пор, пока она не потеряла сознание. Меня били у железных ворот одного дома, куда я хотел скрыться, но дворник, татарин, выглядывавший из-за решетчатых ворот, злорадно говорил:

— Сам кричал, пел, сам и страдай!

И страдал.

Демонстрация была разогнана, но именно поэтому почва для завтрашнего вооруженного восстания была взрыхлена основательно.

Условлено было, что сигналом к восстанию будет бомба, брошенная в казаков. Ее должна была бросить по словам Яковлева, гимназистка Карабчевская [1]). К участию в восстании я привлек многих из наших рабочих и дневального

---

[1]) Она и ее брат студент—оба были с.-р. боевой организации.

Степу. Вечером того-же 16-го октября неожиданно пришел ко мне приехавший из Москвы Бекренев. Он тоже был с револьвером, хотя утверждал, что восстания не будет, так как он в Москве слышал, будто Витте добился у царя какого-то манифеста.

В самом деле, как потом оказалось, казанский губернатор Хомутов получил телеграму—манифест 17 октября, но испугавшись необыкновенных слов, какие там содержались, спрятал манифест под сукно и стал сноситься с Питером на предмет проверки [1]). Поэтому никто из политических руководителей об этом манифесте не знал и восстание началось утром 17-го октября 1905 г.

Главные позиции повстанцев были следующие;

Университет, наискось его — крыша дома Юшкова. Таким образом, всякая воинская часть, которая хотела бы обстреливать Университет, имела бы у себя в тылу бомбистов дома Юшкова. Далее, на той же улице,—пассаж. Там дружинники стояли в трех входах пассажа, спрятавшись за колонны. Кроме того, был занят часовой магазин Климова и чердак этого магазина под угловым куполом пассажа, где были вделаны

[1]) См. на эту тему очерк в октябрьск. № „Правды" за „Октябрские дни 17 лет тому назад".

большие стенные часы, входящие на угол Воскресенской и Петропавловской улиц Дружинники вынули часы и в образовавшееся таким образом окно выставили дула своих ружей. Опять-таки наискосок пассажа была духовная семинария. Семинаристы, вооружившись почти все, запаслись бомбами и просто огромным количеством камней и кирпича, готовы были бить в тыл тем, кто будет обстреливать пассаж.

На окраинах города были и другие позиции. Расположения их не знаю.

Согласно распоряжения Яковлева я с утра, вооружившись револьвером, направился к пассажу. Однако, полиция пешая и конная загородила с ночи вдоль и поперек все дороги, ведущие к центру Воскресенской улицы. Приэтом полиция мало церемонилась Классовая война — самая жестокая из всех воин—входила в свои права.

Когда я дошел до первого кордона, на меня навели дула револьверов выскочившие из засады из-какого то магазина полицейские и жандармы и скомандовали: „стой!".

Я остановился. Кто-то крикнул: „обыскать!" Старший городовой смерил меня взглядом и презрительно сказал:

— Черт с ним! Теки, малый, назад по добру по здорову!

Меня спасло, видимо, то, что я был не в форме реалиста, а в штатском.

Я отступил, но недалеко, так как за несколько шагов от кордона скопилась небольшая группа народа, состоявшая, главным образом, из лиц, намеревавшихся пройти на Воскресенскую по своему делу.

В этой группе стоял, например, мальчик какой-то сапожной мастерской, державший за „ушки“ пару только-что сработанных сапог. Этот мальчик уже раньше, подобно мне, наскочил на этот кордон и, подобно мне же, благополучно отступил. Но теперь, когда он заметил мой разговор с городовыми, хотел видимо воспользоваться этим случаем и попытаться вторично пройти мимо кордона. Он пошел вперед как раз в тот момент, когда я стал отступать назад. Городовые, увидев его идущим вперед второй раз, выстрелили залпом и мальчик на моих глазах, взмахнув в воздухе новыми сапогами упал на мостовую. Народ, стоявший в группе, молчал как каменный: каждый боялся в своем соседе натолкнуться на шпиона. Становилось жутко, как в застенке.

Так как мы стояли собственно на Воскресенской улице, только в самом конце ее, то нам она, прямая, была видна вся. Мы видели как с одной стороны улицы из номеров „Франция“ выбежала девушка, горничная в фартуке и только было хотела перебежать через улицу, должно

быть посланная кем-нибудь, как вдруг из какой-то другой полицейской засады послышался залп и горничная осенним листом упала на дороге.

Было ясно, что все дороги, ведущие к предполагавшемуся центру восстания, были перерезаны отрядами городовых, жандармов и казаков. Я не знал, что делать. Видел в отдалении на пустынной Воскресенской улице Пассаж, но не было никаких признаков присутствия там наших дружинников. Так как мне назначено было быть в пассаже, то я подумал не смогу ли я пройти туда с тылу, с сада, называемого „Черное озеро". Я не успел этого решить, как дружинники прорвали полицейский фронт.

В 10 ч. утра недалеко от того места, где упала горничная, послышался оглушительный взрыв, за ним второй и третий. Дымом застлало всю пустынную улицу.

Когда дым стал рассеиваться, я увидел как конный отряд, стрелял из винтовок беспорядочно в стороны и вперед, мчался прямо на нашу группу, т. е. по направлению к крепости.

Конные были в нескольких шагах от нас, как вдруг в их тылу загремели частые ружейные выстрелы. Конные круто повернули лошадей. Засада, которая не пропустила меня, выскочила, рассыпалась цепью по улице и начала

беспорядочно стрелять в нас Мы стали спасаться за выступами ворот и домов.

Рядом со мною жался к стене какой-то высокий человек в гориховом пальто. Но это было гороховое пальто без ковычек, это был не шпик, это видимо, был дружинник тоже не попавший к месту своего назначения. Он вдруг сам себе скомандовал: „стреляй“!

В его руках сверкнул револьвер. Я машинально вынул свой и мы оба враз открыли стрельбу по городовым. В это время я почувствовал, как две руки меня схватили за плечи. Это была моя мать, которая пробравшись под выстрелами, убеждала меня вернуться домой, так как к месту назначения я не пробрался, а в одиночку с отрядами сражаться нельзя. Сзади матери я заметил своего плачущего младшего брата, который поддерживал предложение мамаши. Человек в гороховом пальто весело подшутил над всей этой сценой и продолжал стрелять. Я тоже не останавливался. Карманы моих брюк, набитые патронами, делались легче. Мать и брат оставались некоторое время со мной.

Мы видели как городовые оттащили двух-трех раненых и уйдя с улицы стали редким, беспорядочным огнем стрелять из окон магазина в улицу без определенного направления, но приблизительно в нашу сторону.

Мы услышали снова взрыв—один, другой. Мы не знали, что делается там, где должен был быть центр восстания. Видя бесполезность перестрелки с городовыми, я и товарищ в гороховом пальто отправились маленькими улицами к „Черному Озеру“, чтобы пробиться в Пассаж.

К нашему удивлению пассаж с тыла оказался не блокирован. Потом я узнал, что он был блокирован и с этой стороны, но дружинники „сняли“ стоявший тут кордон. Входя в Пассаж я увидел как в трех дверях его, за колоннами, стояли дружинники и стреляли. Я присоединился к ним.

Вдруг меня словно вскинуло и застлало глаза дымом. Это семинаристы, что засели в своей духовной семинарии напротив, сбросили на мостовую сразу несколько бомб.

Воинская часть, вызванная для ликвидации восстания, решила прежде всего очистить семинарию. Жандармы, городовые, солдаты, сломав двери семинарии, что выходили не на Воскресенскую, а на Петропавловскую улицу, стали было подниматься по витой, деревянной лестнице. Но им сверху на голову обрушился щебень, камни, кирпич. При каждой новой попытке полиции подняться в семинарские дортуары, повторялось тоже самое. Так вся лестница в конце концов оказалась забаррикадированной камнями.

Семинария, как я потом узнал, в этом восстании вообще сыграла очень крупную роль. Именно благодоря семинаристам дружинникам удалось прорвать заградительные кордоны и занять намеченные заранее позиции для восстания. Прорыв кордонов удался только благодаря тому, что семинаристы, будучи в самом центре полицейского кольца, начали сбрасывать бомбы и тем самым открыли сражение. Часть кордонов была отвлечена к этому центру. Дружинники, задержанные кордонами в своем стремлении к центру, к Воскресенской улице, заслышав как разрываются бомбы у семинарии, ударили на кордон. Особенно сильный удар был нанесен с „Черного озера", что дало возможность дружинникам занять пассаж.

С занятием пассажа, образовался в центре восстания длинный трехугольник с вершинами: семинария, пассаж, университет. Позиции были выбраны так удачно, что войскам, полицейским и жандармским частям было очень трудно действовать [1]).

---

[1]) В общем и целом, если сравнить казанское восстание 1905 г., то оно было по своему плану весьма похоже на московское в октябре 1917 г. Характерно и для одного и для другого было то, что центр восстания - главная Воскресенская улица в Казани, Московский Совет—в Москве—был окружен враждебными силами в то время как сами враждебные силы были: с одной стороны, со стороны Адмиралтейской слободы, завод № 40, недалеко от него Алафузовский и Крестовниковский мыловаренный завод, а в Москве все рабочие районы.

Стоя в пассаже за колоннами, я стрелял со всеми другими товарищами, как только конные полицейские пролетали мимо нас.

Один раз видел, как какая-то девушка, из числа стоявших в пассаже, бросила в конных бомбу, завернутую в папиросную бумагу. Видел как с Петропавловской улицы поднимался на Воскресенскую какой-то высокий, статный студент. Он был с непокрытой головой и держал в руках фуражку.

На крики городовых из той группы, что осаждала семинарию.

— Стой, руки вверх!

студент отвечал презрительным невниманием и поровнявшись с этим отрядом городовых, видя что они, может быть, сейчас его расстреляют, отбежал на мостовую и крикнул:

— Долой самодержавие!"

В ту-же минуту полицейские пули уложили его на месте.

Около этого же времени кордон, который преграждал мне дорогу, видимо был снят и оттуда от крепости, на извозчике ехали две дамы. Видно было, как недалеко от семинарии раздались выстрелы и обе дамы, как курицы, ткнулись друг в друга лицами и опустили тяжелые мертвеющие головы. С одной свалилась шляпа

на мосторую. Извозчик свернул с мертвыми пассажирками в какай-то переулок.

Целью дружинников было занять городскую думу.

Почему именно городскую думу, а не крепость, например, где сидел губернатор,—я не знаю.

Только ночью затихли выстрелы. На наши ночные попытки завязать бой, солдаты и полиция отвечали слабо. Они как будто отступали, давая арьергардные бои.

Ночью мы отдохнули и закусили.

Утром, рано, по распоряжению губернатора, по городу был расклеен манифест 17 октября. О том, что расклеивается такой манифест и что все полицейские и воинские части снимаются с постов мы узнали ночью и поняли это как нашу победу. Мы решили покинуть позиции и идти в думу.

Я жил рядом с городской думой. Видел как в думу вошли т.т. с.-д. Кулеша, Праверт, рабочий Алексей (Лозовский) и др. Под утро я ушел домой и лег спать.

Проспав часа два, я встал и вышел на улицу. У самых ворот я попал в об'ятия какого-то студента, который целовал меня троекратно, как

в светлое христово воскресенье и говорил: „поздравляю“.

Я не знал что и думать. Но тут-же увидел, как на другом тротуаре какой-то человек в шляпе целовал приказчика гостинного двора. Едва я сделал два шага, как попал под поцелуи высокого, сухого человека в широкополой шляпе. Он сказал: „поздравляю со свободой, с конституцией“.

Подойдя к думе, я увидел расклеенный манифест и толпу народа около него, живо обсуждавшую его. Многие опять-таки поздравляли друг друга и целовались.

Городская дума была переполнена народом. Тут было много рабочих, студентов, студенток. Я прошел в зал заседаний. Там заседали гласные, окруженные огромной толпой победоносного народа. Посредине стоял Мандельштам и говорил речь. Это была типичная речь левого либерала. Я застал то ее место, где Мандельштам, подняв в воздух свой красивый указательный палец, говорил о значении интеллигенции в русской революции. Помню певучий, приятный голос. Красивое, смуглое лицо, обрамленное черной растительностью, сверкающие глаза из под пенснэ. Мандельштам был в то-же время председателем этого собрания. В лице Мандельштама рождалась власть городской коммуны, городской обществен-

ности против губернаторского администратирования: Но, видимо, все революционные свержения, в том числе и наше маленькое казанское, должны проходить через фазу некоторой нерешительности: губернатор сидел за крепостными стенами в своем дворце и его никто не трогал. Получалось своего рода Версаль и Парижская Коммуна. Произошло это потому, что когда губернатор Хомутов заперся в своем дворце, разрешившись манифестом, то власть над городом перешла естественно к городской думе, так как это была все же некоторая организация. Партии соц.-рев. и соц.-дем., организовавшие блестяще восстание, не выдвинули в результате его никакой организации более или менее государственно-способной. Только теперь, оглядываясь назад, видишь насколько советы депутатов рабочих и крестьян могли бы явиться естественным и единственным победоносным завершением восстания. Власть перешла к единственной в то время государственно-способной—хотя бы по видимости—организации, к городской думе. А в ней наиболее левым был Мандельштам. Он, естественно, стал во главе городской думы. А, сделавшись мэром города восставших, первым революционным мэром, он естественно становился в соответственную позу к крепости, где рядом с татарской башней Сумбеки, обитал во дворце своем губернатор Хомутов.

Кто-то из моих соседей пояснял мне о Мандельштаме:

— Это теперь заместо полиціймейстера.

— Кто это?

— Который говорит-то. Он теперь назначен полицеймейстером. Старый-то, Васильев, отрешен.

— А губернатор отрешен?—спросил кто-то.

— Губернатор еще нет, но его сегодня тоже отрешат. Теперь выборная, своя власть.

Тот, который спросил про губернатора, был рыжеватый человек, видно что старообразен не по летам. За спиной у него была походная сумка. Как потом оказалось, это был только что вышедший из тюрьмы по амнистии, политический. Он тут-же заявил, что он соц.-дем.

После Мандельштама слово взял тов. Кулеша [1]). Это высокий человек, немного рябоватый, со скуластым русским лицом, бритый. Почему-то в меховой, черной шапке, всегда на затылке. Когда снимал эту шапку Кулеша, видно было, что он сильно лыс. Умный, настойчивый, упорный лоб выдавался немного вперед, отчего глаза

---

[1]) Старый соц.-дем. большевик. В гор. Тобольске, где Кулеша отбывал срок ссылки, он был убит следователем на почве ревности. Жена Кулеши, Лидия Петровна, соц.-дем., много оказывала услуг в нелегальное время. Обычно она с единственным сыном Кулеши жила в Петербурге, на Петербургской стороне, сын Кулеши, Андрей Кулеша, ныне несет ответственную работу в Красной Армии.

смотрели как бы исподлобья. Глаза живые, задорные. Кулеша уже тогда был известен, как хороший и остроумный полемисг. Уже тогда Кулеша резко и остроумно выступал не только против кадетов, но против эсеров и меньшевиков. Он и рабочий Алексей были известны, как коренные большевики. Рабочий Алексей, т. е. Лозовский, славился убедигельностью и убедительность его речей базировалась на чувствительности с какой они произносились. Кулешу же всегда было весело слушать. Он какой-то всегда был легкий, умный, острый, убедительный.

Помню как только председательствующий Мандельштам лал слово Кулеши, последний соскочил с подоконника на котором сидел, болтая длинными ногами, и заломив шапку на свой лысый затылок и встав, вытянувшись особенным ораторским настроением в струнку, начал говорить.

Смысл его великолепной полемической речи был тот, что кроме интеллигенции есть еще такая штука как пролетариат, являющийся в современном обществе классом, на котором зиждется экономика и вместе с тем классом, наиболее революционным. Помню как он говорил о том, что только этот класс в революции способен увлечь за собой крестьян. Кулеша имел огромный ус-

пех. Вслед за ним выступал соц.-рев. Кажется, Карапчевский—студент. Он имел сравнительно мало успеха.

Я не досидел до конца заседания и отправился в верхние комнаты думы. Там в длинном корридоре был поставлен длинный прилавок, весь переполненный разбросанным по нему оружием. Тут были полицейские шашки, револьверы, даже свистки полицейские. За прилавком ходил Драверт и распоряжался оружием. Он раздавал его дружинникам. Тут же я встретил Яковлева и других. Я тоже подошел к прилавку. Заявил, что я дружинник и попросил себе оружие. Драверт выдал мне два револьвера. Я попросил его еще штук десять для вооружения наших рабочих. Нагрузившись револьверами, я отправился в мастерскую и роздал рабочим. При выходе из Думы я видел как на извозчике, нагруженном шашками и револьверами, под'ехал какой-то студент-ветеринар. Возвратившись снова в Думу по раздаче оружия, я вместе с некоторыми другими отправился по распоряжению Драверта разоружать полицию. Но было уже поздно. Почти все участки были разоружены, за исключением Слободской 6-й части, где сидел Васильев, который заявил дружинникам, что у полиции никогда не было оружия. Городовые-де носили при себе только пустые кобуры для стра-

ха населения. И в доказательство своих слов предложил сделать обыск в участке. Дружинники— рабочие ближайших заводов — произвели обыск, но ничего не нашли. Потом я узнал, что и в других участках дружинникам выдали лишь старое, негодное оружие, хорошее же припрятали. Васильев же в 6-й части спрятал все, целиком, не выдав ничего. За это он потом получил награду. Мы-же, русские революционеры, в моменты побед всегда бываем обуреваемы неимоверным прекраснодушием: и в этот раз Васильева за очевидный обман даже не арестовали.

Вечером этого дня был огромный митинг в театре и целый ряд маленьких митингов на углах улиц, у тумбочек. На постах, вместо городовых, стояли милиционеры: студенты, девицы, рабочие. Около них собирались толпы обывателей и откровенно разглядывали новых постовых обсуждая их наружности, необыкновенно деликатные движения. Милиционеры же не препятствовали собираться вокруг себя, только иногда нежными жестами раздвигали накопившиеся кучки народа, говоря:

— Товарищи, не мешайте уличному движению!

Обыватели и обывательницы хихикали. Их забавляло такое обращение. Тем более, что ни-

какого особенного движения на улицах и не было. Даже магазины были закрыты или забиты деревянными щитами.

В театре говорились речи.

На другой день были похороны жертв вооруженного восстания. Опять пошли той-же дорогой к кладбищу, как тогда, год тому назад, когда хоронили Малиновского.

У городской думы, между тем, происходили беспрерывные митинги.

Выступали Кулеша, Драверт, Лозовский, Михайлов-Двинский (отец, присяжный поверенный), Трибуной был балкон городской думы. В промежутках, когда ораторов на трибуне не было и так как народ стоял у думы непрерывно с раннего утра до поздней ночи, то кто-нибудь из толпы произносил речи. Подчас это были речи не то провокаторские, не то просто бессмысленные. Помню один призывал убить царя. Другой говорил о том, что манифест подложный. Третий, без ноги, возвратившийся из Порт-Артура, провозглашал смерть японцам и призывал снова под командою Куропаткина ударить на защиту Порт-Артура. В то время мало прислушивались к существу произносимых речей. Все жаждали напитать свое боевое настроение. Кроме того, в креп-

ком осеннем воздухе, в толпах самого разнообразного народа, свободно вышедшего на улицу, было что-то восторженно праздничное, стихийное и пьянящее. Всем нравилось: „Долой самодержавие!“. Всем хотелось беспрерывно провозглашать: „Да здравствует свобода! Да здравствует революция!“. От этого общего опьянения почти никто не замечал того, как под покровом новой власти зреют черные силы. И не удивительно: ведь складывающаяся было казанская коммуна повторяла шаг за шагом ошибки парижской коммуны. Демократические предрассудки, широчайшие представления о свободе, мешали настоящему революционному творчеству и именно в момент наиболее критический.

И за эти демократические предрассудки мы тогда жестоко поплатились.

Утром 21-го октября из крепости, от дворца губернатора, направилась процессия попов, купцов, военных, некоторых профессоров. Впереди несли портреты царя и царицы. За ними иконы и хоругви. Процессия направилась к памятнику Александра II [1]). Там отслужили молебен. В это же самое время у Думы, т. е. в двух шагах от места молебствия, происходил митинг. Соц.-дем.

Михайлов-Двинский произносил речь. Когда некоторые из толпы, собравшейся около думы, попробовали кричать на черносотенцев—„вон, долой“. Михайлов-Двинский раз'яснил, что теперь существует свобода и что „они—жест к памятнику Александра II—также как и мы—указание на толпу—имеют право делать манифестации в пользу своих идей“.

Разумеется черносотенцы только обнаглели после такого рассуждения и, отправившись сравнительно небольшой кучкой, человек в 100 по Воскресенской, мимо митинга человек тысячи в три, стали требовать у революционной толпы снять шапки перед портретом государя. Купец Швалев—мой знакомец, трактирщик Максимов, надзиратель реального училища Федор Гаврилович (фамилию забыл), оскаля зубы, кричали на митингующих:

— Шапки долой, долой шапки перед царем!

Из революционной толпы опять кто-то стал отвечать протестами и ругательствами по адресу черносотенцев. На балконе появился Михайлов-Двинский и опять пояснил:

— Товарищи, в этом городе теперь, после манифеста, никто из этих—он указал на черносотенцев—не осмелится остаться в шапке, когда мы поем похоронный гимн. Будем тоже уважать и их убеждения и снимем шапки не перед ца-

[1]) См. прилагаемый план.

рем, не перед иконами, а из уважения к чужим убеждениям. И снял свою серую шляпу, показав народу косой пробор немного вьющихся волос. Весь митинг вслед за ним обнажил головы перед кучкой черносотенцев, несших портрет царя. Из толпы снявшей шапки, вышел лишь один студент-ветеринар. Он вышел ближе к кучке черносотенцев и крикнул им в лицо:

А я не подчиняюсь, я не сниму перед вами и вашим царем шапки.

Черносотенцы обступили его. Лезли ему в лицо с кулаками. Многие из них брали с мостовой булыжники и угрожали. Студент в фуражке стоял как каменный, опустив в карманы руки. Сцена продолжалась минут десять. Черносотенцы, наконец, с ругательствами отошли от него и пошли вдоль по Воскресенской улице.

У думы продолжался митинг.

Пройдя по Воскресенской, спустившись на Рыбнорядскую, выйдя в татарскую часть города, значительно увеличившись численно, „патриотическая манифестация“ повернула обратно на Воскресенскую и направилась к думе. К этому времени, т. е. к часам 12 дня, митинг у думы значительно поредел. Он всегда редел в это, обеденное время. Впереди процессии шли уже татарские муллы, за ними русские попы, за ними купцы рыбнорядские, за ними монархические

интеллегенты, за ними переодетые полицейские, жандармы и босяки, которых, как потом оказалось, пристав Тутышкин пригласил для погрома за специальное вознаграждение: рубль в сутки.

Поровнявшись с поредевшим митингом у думы, черносотенцы стали кричать всевозможные угрозы.

В это самое время Михайлов-Двинский собирался уходить с крыльца, но увидев толпу и услышав дикие крики, он в пальто и шляпе вернулся на крыльцо и сказал:

„Товарищи, не придавайте значения этой манифестации. Народ им не сочувствует. У них здесь жалкое меньшинство лавочников, а остальное—все купленное. Сохраняйте революционную уверенность.—И сошел с крыльца прямо в ряды черносотенцев, которые кольцом сжимались не только вокруг думы, но и вокруг всего этого квартала.

И вдруг как вихирь черносотенцы налетели на толпу митинговавших и с криками:

Бей жидов!—начали избиение. У нас в глазах потемнело. Небо словно затмилось темной завесой. Мне показалось глядя на черносотенцев, что в пальто, в брюки, в пиджаки, эти звери оделись и вот сейчас вгрызутся в нас клыками.

И вгрызлись.

С мостовой поднялась туча камней брошенных в нас. Рельсы лежали на мостовой для проводки трамвая. Рельсы эти, бревна, палки, все это полетело в нас. Слышался хряст человеческих спин. Стоны избиваемых. Отчаянные крики „Долой самодержавие". Звериный рев: „Бей жидов!"

Часть толпы успела забежать в думу и там заперлись. Другая часть к нам во двор. Небольшая кучка вместе со мной скрылась в нашей квартире. Убегая в ворота мы видели как среди моря черносогенцев закачалась голова Михайлова-Двинского и потонула в этом море. А на поверхность его была выброшена лишь его серая шляпа, которая описала в воздухе дугу и тоже утонула.

Драверт, кажется, вышел на балкон думы и дал два выстрела по черносотенцам.

Я видел как от этого выстрела свалился человек, державший потрет царя.

И мгновэнно, как разнесенные вихрем, черносотенцы разбежались, очистив совершенно площадь, на которой лежал какой-то убитый брюнет, закрывшийся царским портретом.

Наступила мертвая тишина. Она продолжалась десять минут.

Из нашего двора, который, как и Воскресенская улица, расположен на горе, был сделан

подземный спуск, который кончался воротами, выходившими в маленький так наз. Вшивый переулок. Таким образом, двор наш был проходной но об этом мало кто знал, так как чтобы пройти им надо было предварительно спуститься в подземелье. Там-же, в подземелье помещались погреба.

Мы воспользовались этим моментом затишья и я, спустившись в подземелье, открыл ворота во Вшивый переулок и вывел первую партию в 28 человек из осажденного квартала. Едва я успел вернуться во двор, как увидел на пустой площади перед думой трех: нашего надзирателя реального училища Федора Гавриловича, трактирщика Максимова, содержавшего Панаевский сад и торговца посудой и электрическими принадлежностями—купца Гутмана. Сии три отважных мужа одни вышли на опустевшую площадь и делая вправо и влево пригласительные жесты, сзывали разбежавшихся черносотенцев снова собраться у думы.

В то-же самое время я увидел, как из подвального окна думы, которое выходило прямо в наш двор—это были квартиры думских сторожей—вылез один, другой, третий из числа тех наших товарищей, что сидели осажденными в думе. Я их вывел тем-же ходом, что и первую партию.

А затем ко мне на помощь пришла моя мать и мы вместе с нею организовали через это окно уже правильную эвакуацию осажденных. Встречая вылезавших в окно и провожая их через подземный ход на Вшивый переулок, я в то-же время замечал, что делалось на улице.

Там черносотенцы с искаженными лицами, потрясая в воздухе камнями, палками—сходились. В первых рядах перед думой были босяки. Вдруг они, словно по команде, расступились и за ними оказались солдаты, присланные из казарм, что были под Ивановской горой, т. е. как раз в тылу бушевавших черносотенцев. Солдаты разбились в цепь и дали сильный залп по думе, потом второй, третий. Из думы отвечали разрозненные револьверные выстрелы.

Когда раздался первый залп, то мать моя выводила группу за ворота во Вшивый переулок. Но эта группа едва высунула нос за ворота, как вернулась, заявив, что во Вшивом переулке солдаты. И действительно, скоро на думу посыпались выстрелы и с переулка. Между тем из думского окна вылезла еще одна партия.

Солдаты, стрелявшие на улице, видимо заметили это и две цепи приблизительно по 8 человек, все время стреляя, бросились к нашему двору.

Нам, с теми 10—12 товарищами, которые

остались во дворе и не могли ни туда, ни сюда податься, ничего не оставалось делать, как укрыться в нашей квартире. Едва мы успели вбежать и запереться у нас, как солдаты вбежали во двор и стали стрелять и по думе и по нашей квартире. Мы все залегли под подоконниками. Я успел прокрасться в соседнее помещение, где была мастерская и магазин отца. Из окна магазина, выходившего на Воскресенскую улицу, я увидел как из ворот думы выбежала как будто девушка прямо навстречу стрелявшим солдатам. Кто-то из черносотенцев, стоявших тут-же, с солдатами, поднял ей юбку... В нее раздались выстрелы и существо в юбке упало. Потом оказалось, что это один техник, из числа осажденных, желая спастись, переоделся в платье жены сторожа и вышел из ворот думы. Но под юбкой у него увидели брюки и он был кончен. Другой из осажденных, студент, взобрался на крышу думы и спрыгнул оттуда во Вшивый переулок, но был убит там солдатами. Были и еще подобные жертвы.

Стреляли с обоих сторон с ожесточением. Темнело. Поэтому стреляли бесцельно, беспорядочно.

В 10 ч. вечера дума сдалась.

Мы слышали как прекратилась стрельба и через несколько минут к нам в квартиру раз-

дался сильный стук. Прежде чем открыть дверь, мы отправили тех 10 - 12 товарищей, которые были у нас, в мастерскую, которая сообщалась с квартирой внутренним ходом и расположили их на рабочем портновском „катке“ вместе с рабочими, дали им в руки иголки, утюги и пр.

Все бледные и рабочие и беглецы из думы сидели и холодающими руками держали орудия производства.

Я подошел отворять дверь, которую готовы были разнести.

Едва я открыл, как передо мной очутился полицейский в черной шинели, с черными усами. От него пахло осенней сыростью и перегаром водки. За ним стояли еще какие-то силуэты, которых я не мог в темноте рассмотреть, да и не успел, так как городовой тут-же в меня выстрелил три раза. Пули пролетели мимо. Полицейский оттолкнул меня рукой и вошел. За ним вошли солдаты и жандармы, с дымящимися теплыми винтовками.

— Кто у вас скрывается?—спрашивал городовой.

Мы ответили, что никого нет.

Жандармы и солдаты смотрели по углам, под столами, под кроватями. Вошли в мастерскую. Городовой, увидав рабочих, обругал их крепким русским словом. Потряс в воздухе револьвером

и вышел прочь. За ним последовали жандармы и солдаты.

Ночь мы провели без сна. Слышали как поодиночке выводили осажденных из думы и отводили в тюрьму. У дверей нашей квартиры сидел отряд солдат. Ни нас, ни рабочих никуда не выпускали.

Утром к думе подошла огромная толпа черносотенцев. Опять отслужила молебен и опять пошла громить. Теперь уже погром пошел по домам,

Стоном стояло в воздухе: „Бей жидов!“

К полдню патруль был снят от наших дверей и рабочие и те, кто сошел у нас за рабочих, т. е. 10—12 товарищей, получили возможность уйти.

В это же время в крестьянской поддевке пришел к нам мой двоюродный брат Сергей Смирнов соц.-рев. Мы с ним решили разведать пошире, что делается в городе. Я одел поддевку нашего дневального Степки и взял у кухарки крест, одеть на шею, так как в сомнительных случаях черносотенцы прежде чем бить освидетельствовали православный или нет. Часто крест спасал от избиений на улице. Одевшись так и повязавшись кушаком мы вышли в бушующие погромом улицы.

Едва мы отошли от дома, как попали в са-

мую гущу толпы босяков и торговцев, которые раз'яренно громили какой-то обувной магазин и крича „бей жидов“, растаскивали картонки с обувью. Так как мой брат с черной головой и небольшими черными усиками смахивал на еврея, особенно в глазах толпы, когда она была об'ята погромным ражем, то его кто-то схватил за руку и развернулся, чтобы ударить.

— Я русский—робко, весь бледный, проговорил мой брат.

— Покажи крест, сволочь!

Он показал

— Перекрестись!

Он перекрестился.

— Читай богородицу!

Прочитал.

После ему дали подзатыльник, сказав:

— Ну ладно,—ступай.

И мы пошли дальше.

Все это нам показалось таким отвратительным, что мы решили избегать встреч с хулиганскими толпами. Однако, это сделать было трудно. Громили везде.

Повидав некоторых товарищей, мы узнали ужасные вещи.

Михайлов-Двинский, соц.-дем. был убит в тот раз, когда я увидел его закачавшимся в толпе. Его сволокли в переулок и там, размотав за но-

ги, головой били о тумбочку. После погрома в анатомическом театре университета вместо Михайлова-Двинского лежала груда мяса и костей[1]).

На Рыбнорядской улице, в номерах Музурова, перерезано было много студентов Еврейская семья, жившая на нашем дворе (Шапиро), залезла на сеновал и там в сене прожила три дня, как раз столько, сколько длился погром. Мы украдкой носили туда пищу.

Подобно тому, как прежде с утра к думе стекались митингующие, так теперь к той-же думе с утра стекались пьяные босяки, торговцы, трактирщики и, благословясь молебном около памятника Александра Второго, начинали погром.

Анатомический театр наполнялся жертвами.

В эти дни все в той-же поддевке и деревенском кушаке, зашел я к Левину. Он в квартире был, кажется, один. Отец, мать и прочие члены

---

[1]) Через несколько дней после погрома Василий Швалев был в магазине моего отца и имел неосторожность хвалиться о том, как он бил Михайлова-Двинского. Это слышала моя мать, которая возбудила на этом основании дело против Швалева, как убийцы. Только через год почти состоялся суд и даже этот царский суд признал Швалева участвовавшим в убийстве и приговорил его к 8 месяцам тюрьмы, с заменой тюрьмы штрафом. Швалев заплатил штраф. По этому поводу, многие рабочие и прежде всего рабочие нашей мастерской, об'явили Швалеву бойкот: ни один портной не соглашался ему шить, обойщики отказывались идти к нему в квартиру обивать мебель. Некоторые приказчики отказывались отпускать товар. Вся эта история имеет отражение в тогдашних казанских газетах.

семьи куда-то скрылись. Левин жил, не зажигая света в квартире, старался не шуметь и вообще дать понять, что не нежилая квартира. Я был в сумерках у него. Худой и серый с ввалившимися глазами. В них не было боязни быть зверски убитым. Помню меня это сразу поразило. В глазах его было глубокое нравственное страдание. Мы сели за стол. Поговорили отчего это так внезапно повернулось движение против нас. Сетовали на то, что дружинники, оставшиеся в городе, не ударили в тыл громилам. Досадовали на наших осажденных, которые вместо того, чтоб биться хотя бы и ржавым оружием до конца, вдруг сдались. Много было досад. Но все это было лишнее. Пустая темная квартира, серое лицо моего друга, я в странном наряде,—все это нас давило своей жестокой необычайностью. Все это говорило нам о крови и замученных подчас ни в чем неповинных людей.

Тут, между прочим, Левин мне сказал, что если отец и мать его не будут разысканы погромщиками, то непременно эмигрируют в Америку. Сам Левин относился к этому плану отрицательно. Тут-же он сообщил мне, что два знакомых его студента, оба евреи, Полетика и Британ, одобрительно относятся к погромам. Полетику и Британа я сам знал и видел не однажды. Первый высокий, черный, густо обросший усами

и бородой. Другой—маленький, рыжий, веснусчатый, без шеи с белесыми глазами, бритый. Они всегда ходили под-ручку и щеголяли в среде казанской интеллигенции своей реакционностью. И всетаки, когда они тут, в эти дни опять продолжали хлестать в глаза всем своим черносотенством, я был искренно поражен.

Левин как-то совсем тихо говорил о них. Когда я сказал про этих двух молодцов, что они может быть полицейские-агенты, Левин махнул рукой и вздохнул:

— Если бы только это!—сказал он.—Тут невообразимо худшее. Не сейчас об этом говорить.

Я ушел от Левина в темноту улиц, где слышались полицейские свистки: на третий день погрома, полиция стала сдерживать погромщиков, особенно пьяных даже ловила и отправляла в участок.

После погромного трехдневника я возвратился в реальное училище к занятиям. Но занятий не было. Прежде всего на молитве, хор наш, пропев все молитвы, вдруг замолчал, когда очередь дошла до пения „Боже царя храни". Регент-классный надзиратель Лукьянов, взмахивал камертоном, но все в пустую. Ученики—певчие не смотрели ему в глаза, робко жались к стене и не пели.

Нас распустили по классам. Но уроков почти не было, так как пошла полоса наших, немного запоздалых забастовок. Форма их была большей частью такова:

Мы брали карбит и бросали его в чернильницы. Поднимался страшно тяжелый запах. Преподаватели обычно этим выкуривались, учеников приходиолсь распустить. Этой деятельностью мы, считавшие себя сознательными социалистами, привлекали на свою сторону и тех, из „комчатки", которые в забастовке видели возможность просто не заниматься, да еще похулиганить.

Впрочем наше карбитное средство не на всех преподавателей действовало. Были такие, например, Николай Владимирович Владимиров, историк, который продолжал вести свой урок в удущающей вони и, вопреки своему обычаю открывать форточку, в эти часы просил не открывать и, ядовито на нас посматривая, говорил:

— Зачем же открывать, я нахожу, что воздух хороший.

Тогда к карбиту мы прибавили еще второе средство: мы запирали стулом стеклянную дверь класса, которую для дополнительной крепости заставляли черной доской, забаррикадировали партами. На черной доске мы надписывали:

„У нас забастовка! Да здравствует революция! Долой самодержавие!"

А сами мы, оставаясь в классе за этими биррикадами обычно или митинговали или пели революционныя песни.

В ответ на это учебное начальство произвело некоторые исключения из школ реалистов и гимназистов. Из реального училища исключили несколько человек, в том числе и меня.

В повестке об исключении говорилось; „За участие в забастовочном движении“. Эта мотивировка исключения придала мне очень большую гордость.

Вскоре после этого пришел ко мне Левин и сказал, что из деревни привезли сына Михайлова-Двинского.

— Почему это не приехал, а привезли? — спросил я.

— Крестьяне его избили так, что потом подобрали его как мертвого, но по дороге услышали, что дышет. Он в больнице теперь. Есть опасение, что не выживет.

Старик Михайлов-Двинский, т. е. отец убитого присяжного поверенного и дед избитого гимназиста, навещал своего внука. Через старика Михайлова-Двинского мы узнали, что гимназист начал поправляться, но все еще лежал в таком виде, что его трудно было узнать. Гимназист Михайлов-Двинский, к счастью, выжил.

И вдруг среди всех этих печальных событий

словно освежающий гром грянул: мы узнали о начале декабрьского вооруженного восстания в Москве.

Я почти не выходил из мастерской и посещал собрания рабочего соц.-рев. кружка, беспрерывно толкуя о московском восстании. К сожалению, можно было только толковать, так как после разгрома нашей трехдневной коммуны, я утерял связи с Яковлевым и с другими боевыми соц.-революционерами.

Знакомый инженер отца, член к.-д партии, часто прибегал к отцу и говорил—всплескивая руками:

— Они кажется возьмут власть. Скажу вам по секрету: московский гарнизон отказался усмирять.

Тот предприниматель, который предлагал бить морды забастовщикам, вообще скрылся неизвестно куда и даже не показывался в свой магазин.

У нас появился знакомый интендантский чиновник, который собирал у себя, главным образом вокруг своей жены, салон самых передовых студентов соц.-рев. и соц.-дем. Он так и говорил нам, что ищет приглашать к себе наиболее ярых революционеров.

Губернатор вторично струсил (первый раз с манифестом 17 октября) и освободил из тюрьмы всех арестованных в думе.

И вдруг в течение нескольких дней дело круто повернулось в сторону реакции.

Имя Дубасова всплыло, как ковчег завета на Араратовских горах.

В печати еще не было ничего о расстреле машиниста Ухтомского, вывезшего дружинников из Москвы, но ко мне приехал возвратившийся из Москвы Бекренев. При нем был революьвер. Одет он был в дешевый, короткий ватный пиджачек с кепкой на затылке, в сапогах. Он об'явил мне, что был в числе дружинников и был вывезен вместе с ними машинистом Ухтомским. По рассказам Бекренева он был на позиции в одной чайной около Страстного монастыря. Сам делал баррикоды, перекручивал их колючей проволокой и вместе с другими стрелял по дубасовцам, которые, поддерживая свои ряды артиллерийским огнем, проносились дико из одного края Москвы в другой. Подробно о вооруженном восстании мы весь день говорили с Бекреневым, сидя в пустом сарае. Там молодой дружинник рисовал мне план Москвы, описывал затруднительное положение дубасовских драгун, которые иногда не могли одолеть баррикады, за которыми было не больше 10—12 дружинников. На мой вопрос партийный ли он, Бекренев, теперь мой приятель, ответил, что он по прежнему свободен от партий, но что он с до-

мом распрощался навсегда и теперь отдал себя революции. По его словам, революция еще не проиграна и что сейчас начнутся аграрные беспорядки, в которых он, Бекренев, хочет тоже принять участие. Я не смел ему рассказывать о казанском вооруженном восстании, так как все, что он рассказывал мне про Москву было настолько чудесно и огромно, что я почел за благо молчать о казанских подвигах. Однако, я признался ему, что я тоже дружинник

Бекренев, потихоньку от моего отца, поселился у нас на квартире. Мать моя ухаживала за ним как за сыном Мы с ним ездили загород учиться стрелять в цель „на случай восстания". А приблизительно через месяц Бекренев уехал в Пензенскую губернию участвовать в аграрных восстаниях,

С тех пор Бекренева я больше не встречал на своем жизненном пути.